

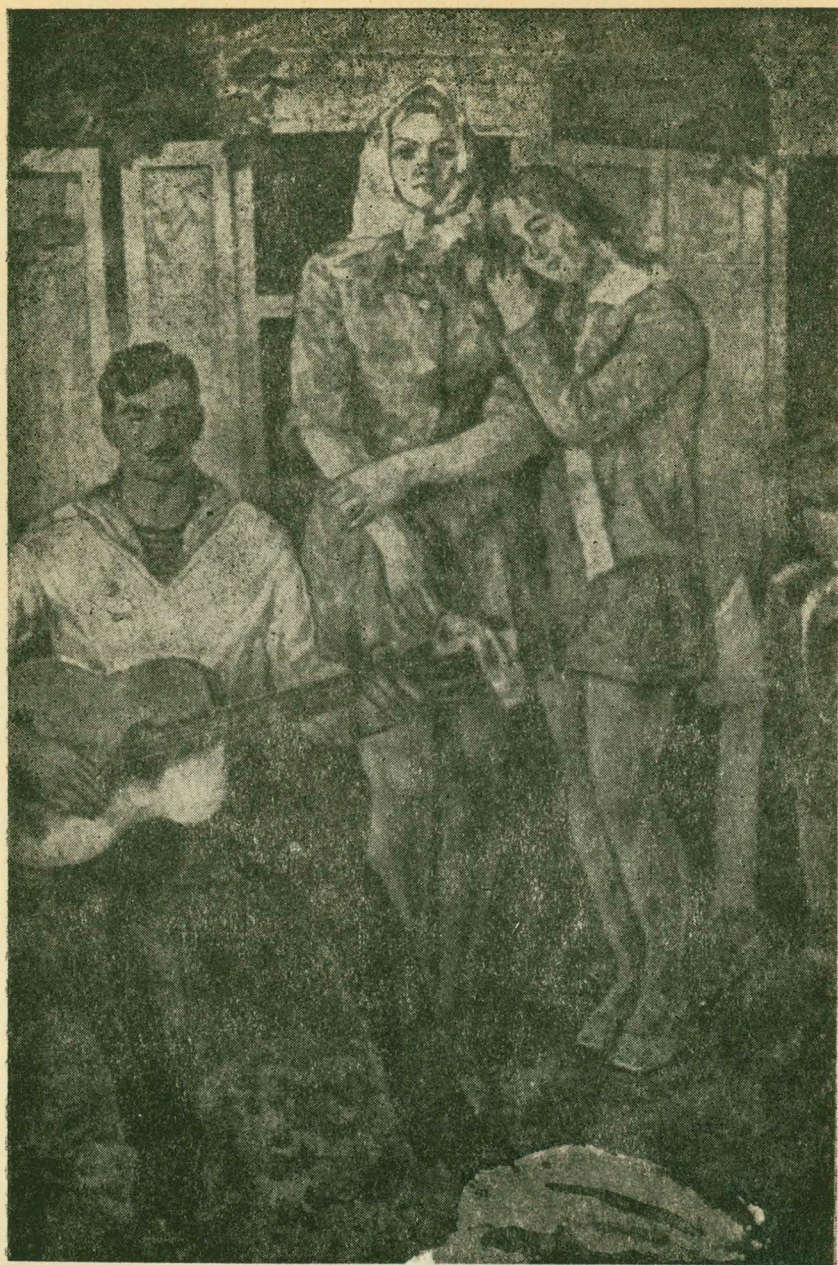
О-38
421521

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

№ 2 • 1977
АПРЕЛЬ ИЮНЬ

ОГНИ
КУЗБАССА





В. Цибарев. «В родном кр»

ОГНИ КУЗБАССА

05
0-38

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Выходит ежеквартально

Год издания 29-й



390391

№ 2 (55)

В Н О М Е Р Е

СТИХИ

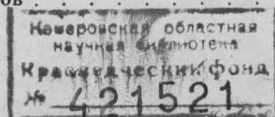
ВАЛЕНТИН МАХАЛОВ. «Я уходил в тайгу...» Река в серебряном сверканье...» На рыбалке. Марьин корень. «Открой родной природе душу...»	3
СЕМЕН ПЕЧЕНИК. «Дымят дымы по всей деревне...»	29
ВАЛЕРИЙ ЗУБАРЕВ. «Бегут с портфелями в руках...»	30
«Если что-то не суждено...» «Свет погас...» Птичка.	31
ОЛЕГ ФИЛОСОВ. «В повседневном платье сером...» Отец и мать. Лесной пожар. «Холодное гулкое ут- ро...»	38
ВАСИЛИЙ МИРОШНИЧЕНКО. Весна идет издалика. Перекур	69

ПРОЗА

ВЛАДИМИР КУРОПАТОВ. Зеленый луч. Повесть	6
ВЛАДИМИР ВЛАСОВ. Игрок. Рассказ	33
ВЛАДИМИР КОНЬКОВ. Поехал он к Черному морю. Рассказ	41

СТИХИ — ДЕТЯМ

ВАЛЕНТИНА ТОМИЛИНА. Помощница. Про рукавичку. Охота на китов	47
---	----



ИСКУССТВО

ЗОЯ ЕСТАМОНОВА. Сотворение рябины 48

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

М. СОРОКИН. Легенда о Беловодье 60

Р. КРУССЕР. Продолжение борьбы 64

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ...

ЛЮБОВЬ СКОРИК. Улыбка Вьетнама 70

СЛОВО — КРИТИКЕ

С. СМЕРНОВА. Чувство хозяина земли 82

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

МАРК ТВЕН. Всем начинающим авторам 85

С. ДОНБАИ. Молодежная секция 81

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

ВЛАДИМИР МАТВЕЕВ. Современная басенка. Размин-
ка перед охотой 88

На обложке: фото Е. Чернышева «Березовые кружева».
На 2-й странице обложки: фоторепродукция картины В. Ци-
барева «В родном краю».

Фотографии к очерку Л. Скорик «Улыбка Вьетнама» —
Т. Чурсиной.

Редактор В. М. Мазаев

Редакционная коллегия: В. М. Баянов, А. Н. Волошин,
Г. А. Емельянов, В. В. Махалов, (отв. секретарь), О. П. Пав-
ловский, З. А. Чигарева, Г. Е. Юров.

Адрес редакции: 650099, Кемерово-99, Советский проспект, 94.
Тел. 6-85-14.

Рукописи не возвращаются.

Ведущий редактор Л. В. Глебова; художественный редак-
тор А. С. Ротовский; технический редактор Г. В. Адова;
корректор В. Ф. Алагузова.

Сдано в набор 1.I 1977 г. Подписано к печати 21.IV 1977 г.
Формат 70×90¹/₁₆. Бумага типографская № 3. Усл. печ. л. 6,43.
Уч.-изд. л. 7,67. Тираж 5000 экз. ОП00247. Заказ 1339.
Цена 40 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово,
Ноградская, 5. Кемеровский полиграфкомбинат. Кемерово,
Ноградская, 5

О $\frac{0732-29}{M145(03)-77}$ 77

© Кемеровское книжное издательство, 1977

Валентин Махалов



Я уходил в тайгу,
Как будто камень в омут,
Врастал в ее негромкий ровный быт.
Она была моим зеленым домом,
Хорошей песней,
Небом голубым.
Здесь от себя я полностью зависел,
Ходил своим, нехоженым путем,
Здесь пробуждались медленные мысли
О подлинном призвании моем.
Когда казалось, что извечно будут
Во мне тайга
И рек крутой разбег,
Вдруг затопляла все тоска по людям.
И — праздновал победу человек.



Река в серебряном сверканье
Летит с уступа на уступ,
Катая камешки в гортани,
А рокот слышно за версту.
В ее веселых завихренях,
Закатным солнцем залиты,
Танцуют вальс цветы осенние,
Прощаясь с летом золотым.
Волна их прибывает к берегу
Густым наплывом янтаря,
А в холода еще не верится
Душе в начале сентября.

Душе пока еще не кажется,
Что дышит осенью река.
И листья желтые не вяжутся
С цветеньем позднего цветка.
И только это вот кружение
Воды, листвы, прибрежных ив
По существу, по настроению
Осенний создает мотив.

На рыбалке

Речка весело струится
От палатки в трех шагах.
Мне побудку свищут птицы
В серебристых тальниках.
Солнце только-только вышло
Из-за ближнего леска...
Я настрою удилишко,
Поплюю на червяка.
И заброшу снасть-удачу
В омуток тугим кивком,
Буду с выдержкой собачьей
Наблюдать за поплавком.
Вот качнулся он лениво —
Нервно дрогнула рука.
До чего ж неторопливо
Язь клюет на червяка.
Ну, давай-давай, дружище,
Ну, еще разок! А ну...
Гнет язище удилище.
Я тяну его. Тяну!
Ах, рыбацкая привычка
Привирать...
Скажу я вам,
Что попалась мне добыча
Весом в добрый килограмм.
Тот не видел в жизни счастья,
Кто не знал таких минут.
Может, кто и не согласен,—
Рыбаки меня поймут.

Марьин корень

Было так.
Ливень вымотал душу,
Вымыл тело до белой кости.
Нас держала тайга равнодушно,
Как букашек: в косматой горсти.
А когда мы спустились с предгорий,
Шли по травам, побитым дождем,
Окаянный цветок марьин корень
Полыхал греховодным огнем.
Нам казалось: вот-вот загорится
От него молодая трава.
Веселели усталые лица,
Веселее дышали слова.
И всего удивительней было —
Сколько в этом цветке собралось
Негасимой и трепетной силы
В этом мире, промокшем насквозь.

Открой родной природе душу...

Открой родной природе душу,
И с ней, единым чувством слит,
На зорьке утренней послушай
Дыханье ровное земли.
Земля на женщину похожа.
Сравненье давнее, но ты,
Об этом памятуя, все же
Найди в нем новые черты.
Найди в нем новые оттенки.
И ты почувствуешь, как вновь
Тебя заполнит постепенно
К земному добрая любовь.
И, пробудив в тебе поэта,
Твои сомненья сокрушив,
Останется мгновенье это,
Как возвышение души.

Владимир Куропатов

ЗЕЛЕННЫЙ ЛУЧ

Повесть

Приехав в родное село, я на другой же день утром отправился в книжный магазин. Книголюбы знают: заглянув в сельский книжный, почти всегда найдешь вещицу, приобретение которой в городе считается за большое везение. Бывает, такое достанешь из дальнего угла, что вначале даже собственным глазам не поверишь. А когда убедишься, что они не обманывают, руки от радости и волнения затрясутся, как у рыбака, почувствовавшего по натяжению лесы, что на крючке рыбина-мечта, которая, не дай бог, сорвется и, блеснув чешуей, уйдет в водную глубь. Пальцы крепко сжимают книгу-мечту, а глаза уже помимо воли стреляют по сторонам — не увидит ли кто и не стал бы, чего доброго, отнимать. А в магазине полторы души. Или совсем никого. Кроме продавщицы, конечно.

По правде говоря, я иду всякий раз в книжный магазин, не только надеясь приобрести хорошую книгу, но и чтобы отдать дань почтения Татьяне Михайловне. Сколько помню себя, столько она и работает в книжном. Сейчас Татьяна Михайловна уже совсем старенькая. Ссутулилась и будто ростом поменьше стала. На лице год от года морщин все больше, и де-

лаются они все глубже. А вот глаза остались прежними — не померкли, все такие же чистые. В них доброта и ум. В них сверкают искорки лукавства и веселья.

У Татьяны Михайловны твердое правило: без книги не выпускать ни одного человека. Поэтому, когда мы были мальчишками, если в кармане не позвякивало, заходить в когиз (так тогда назывался книжный) не решались. Если же кое-какими деньгами располагали, то прежде, чем взяться за ручку двери, приводили себя в порядок: застегивали пуговицы, приглаживали волосы и настраивались на серьезный лад, лицу придавали такое выражение, чтобы выглядеть достойнее, чем были на самом деле. Переступив порог, снимали шапки и говорили:

— Здравствуйте...

— А-а-а! Пожа-а-луйте, пожа-а-луйте, — сказала Татьяна Михайловна приветливо и так обрадованно, словно бы все время после моего последнего посещения магазина она только и делала, что ждала и ждала меня и вот, наконец, дождалась. — Проходите, проходите ближе... как вас... Вот ведь забыла. Редко стали заглядывать.

Она и раньше так говорила: «Проходите, ребята, проходите смелее... как вас... Вот ведь забыла». Теперь я понимаю: нас было много. И, разумеется, большинства наших имен она не знала, но чтобы расположить к себе, прибегала к такой уловке:

— Значит, в родные, как говорится, пенаты?.. Очень хорошо. Художественная литература у нас теперь вот здесь. И надолго вы?.. Только-то?! Жаль! На следующей неделе будет кое-что интересное. Но мы не бедны и сегодня. Скажите, что вы знаете о пробке?.. О самой обычной, бутылочной?

— А что о ней можно такого знать?

— Ага! Вот вы и попались! — Татьяна Михайловна протянула мне книжку, которую держала в руках. — Михаил Лоскутов. «Немного в сторону». Здесь вы читаете о пробке уйму интересного. И не только о ней. Очень увлекательно рассказано о скрипичном мастере Добрянском, об укротителе зверей Гладильщикове и еще много кое о чем. Словом, эту книгу вы берете. Жалеть не будете, ручаюсь... А вот вам и «Письма из русского музея» Владимира Солоухина. Так для вас и берегу. Смеетесь? А ведь вижу — рады. Солоухин ваш любимый писатель.

— Как вы угадали?

— Гадают гадалки, а я — знаю. Должна же я знать интересы и вкусы своих покупателей. Знаю и о том, что вы сейчас спросите, нет ли новой книжки стихов Леонида Мартынова. Как не быть. Есть. Вот вам его «Людские имена».

— Спасибо большое. А еще одного экземплярика не найдется? У меня есть товарищ, тоже большой почитатель Леонида Мартынова.

— Последний, больше нет! — Татьяна Михайловна развела руками. — Как жаль! Всего четыре экземпляра было. Один заведующая аптекой взяла, другой — юноша-девятиклассник, третий...

Подождите, кто же третий взял?.. Кто-то из мужчин... Или женщина?.. Забыла. Помню, что книголюб, а вот кто именно... Старее, совсем старее, — с грустным смешком часто закивала головой. — Заходите. Приезжайте почаще и заходите.

— Обязательно, Татьяна Михайловна. Спасибо вам. До свидания.

Со стопкой книг под мышкой я шел по бору назад. Стрелял короткими взглядами вперед, чтобы не споткнуться о выгорбившиеся корни вековых сосен, и листал сборник Мартынова. Одни небольшие стихотворения прочитывал, из других глаза вырывали только отдельные строки.

«Освобожденное от туч,
Все небо розово и звездно.
Я увидал зеленый луч.
Ищи и ты. Еще не поздно!»

Это четверостишие так и озаглавлено — «Зеленый луч». Другое стихотворение называлось «Сверлящий взор». Его первые строки:

«Я стар,
Я струны старых лир
Щиплю негнушимися пальцами...»

Через несколько строк:

«Я стар,
Но взор мой не угас!..»

Конец стихотворения без названия:

«Еще я и нынче умею весну
За крылья хватать.
И ночью сегодня, лишь только засну,
Я буду летать».

Перелистнув страницу, я в очередной раз бросил взгляд вперед. По тропке навстречу мне шла женщина. Я тотчас узнал ее. Это, конечно, была она, Зоя Сергеевна, наша учительница русского языка и литературы. Как и много лет назад при встречах с учите-

лями, мною вдруг овладели робость и стеснение. Я почтительно посторонился, придержал шаг, слегка поклонился и сказал:

— Здравствуйте, Зоя Сергеевна.

Должно быть, занятая какими-то мыслями, она не ожидала приветствия, вскинула на меня округленные удивлением глаза. Но через какое-то мгновение удивление потухло.

— Здравствуйте. Теперь вас не вдруг и узнаешь.

«Да и вы не та»,— уже готово было сорваться с моего языка. Но я вовремя одернул себя. Мои слова не были бы комплиментом учительнице, некогда впорхнувшей в наш шестой «Б» молодой девушкой. В черном сарафане и в белой, с жабо, кофточке, остроносенькая, она напоминала тогда ласточку. Сейчас это сравнение не вязалось с ее внешностью. Годы, годы, как вы нещадны, жестокосердны! Передо мною стояла раздобревшая и в то же время увядающая женщина, мать троих — я это знал — уже не маленьких детей.

Я отвечал на вопросы Зои Сергеевны: где вы? что вы? как живется-может? Сам спрашивал о том же, а взгляд мой останавливался то на тонких ниточках морщин, убегающих от глаз к вискам, то на синем жакете с загнутыми, как лемеха плуга, кончиками лацканов, то на руках, огрубевших от домашней работы, то на хозяйственной сумке, из которой выглядывал уголок мешочка для сахара или крупы.

— ...Работа, дети, хлопоты по хозяйству — так вот и живем.

— Как ученики? Наверное, лучше, чем мы были, все сплошь вундеркинды?

— Что вы, что вы! — махнула рукой Зоя Сергеевна. — Где там лучше! Вы же, наверно, знаете, Мария Ивановна вышла на пенсию, а новый директор такой, что им не припугнешь. Все

убеждает, нянькается, какие-то подходы к хулиганам да лоботрясам ищет. Вы должны его помнить — Иванов. Василий Петрович. Ученик Герасима Гавриловича Корсакова. И вот два года уже в школе сплошная корсаковщина. Трудно, совсем трудно стало работать.

В нашем разговоре наступила пауза. Оба мы искали, что бы еще сказать, о чем бы друг друга спросить. Однако в таких неловких ситуациях чем настойчивее ищешь, тем меньше находишь, и неловкость усугубляется.

— В книжном были? — спросила Зоя Сергеевна без особого интереса, спросила только ради того, чтобы спасти нас обоих от гнетущего молчания.

Но все равно я обрадовался и оживился. Моя бывшая учительница, наконец, заметила то, на что я думал она обратит внимание в первую очередь — ведь какому сеятелю не любопытно увидеть всходы.

— Да. Вот кое-что купил, — с гордостью указал на книги под мышкой.

Скорее из приличия, чем из любопытства, Зоя Сергеевна взяла из моих рук книжку Мартынова.

— «Людские имена». Что тут? — открыла сборник на середине и тут же резко, будто со страниц пахнуло карболкой или тухлыми яйцами, или еще чем-то не менее неприятным, захлопнула книгу. — Ах, это стихи! — и поспешила сунуть сборник снова в мои руки. — Не люблю стихов. Вот что-нибудь приключенческое... Да и то некогда. Уроки отведешь — к новым готовишься, — грудь ее колыхнулась от вздоха. — А ведь это не какая-нибудь там ботаника, русский и литература. Сочинения, изложения. Да еще почти на двух ставках работаю. А семья, хозяйство сколько времени отбирают. То одно надо сделать, то другое. Сейчас вот за пшеном для цыплят отправилась. Пищат — кормить надо, — засмеялась легонько. — Вот когда уйду

на пенсию, как Мария Ивановна, тогда и читать начну. Все подряд. Ну, всего вам хорошего.

— До свидания...

И мы пошли каждый в свою сторону...

В шестом классе первого урока литературы у нас не было. Потому что учительницу, которую направили в нашу школу, как мы поняли из объяснения директрисы Марии Ивановны, где-то кто-то перехватил, или она немножко заблудилась и очутилась в другой школе. С завтрашнего дня,— сказала Мария Ивановна,— уроки в вашем классе станет вести Герасим Гаврилович.— Временно, пока не пришлют новую учительницу.

— А сейчас вы можете выйти во двор и погулять. Только тихо! Ти-хо! Ясно?

— Все ясно,— сказал Петька Резуненко и продекламировал на весь коридор:— Эта песня хороша, начинай сначала!

Этим самым Петька выразил свое ироническое отношение к тому, как часто у нас менялись «русаки». Выйдя на крыльцо, Петька уселся на ступеньке, и, чтобы со всей точностью определить степень нашего невезения, принялся считать, сколько их, «русачков» и «русачек», сменилось в прошлом году. Загнул все пальцы левой руки—не хватило, стал загибать пальцы правой руки, но сбился со счета, плюнул, выругался.

— Весной будем считать, сразу за два года...— посмотрел на меня искоса и ехидно.— Поди, радуешься?

— С чего бы?

— Так Лысый же завтра придет.

Каждый учитель в нашей, как и в любой другой школе, носил какое-нибудь прозвище. Как невозможен, скажем, хлеб без корки, так немислим

был у нас учитель без прозвища. Лысым мы называли Герасима Гавриловича Корсакова.

— Ну и что? — спросил я совсем равнодушно.

— Так он же твой дя-я-дя.

Герасим Гаврилович в самом деле доводился мне дядей. Однако же, если учесть, что Александра Михеевна была мне не родной матерью, а мачехой, а Герасим Гаврилович был мужем тети Ани, сестры моей мачехи, то, выходит, мне он доводился таким же дядей, как и всем ученикам нашего класса, в том числе и Петьке, моему двоюродному брату по родной матери.

Аккуратное сложение и подтянутость Герасима Гавриловича несколько скрадывали его возраст, молодили. Но коротко подстриженные, меловой белизны волосы и отчетливо выделявшийся в окружении их розовый островок плешинки в такой же мере старили его. Маленький плюс уравнивалился маленьким минусом, и на вид Герасиму Гавриловичу было столько, сколько было на самом деле — лет около пятидесяти пяти. Поводом для прозвища Лысый послужила, разумеется, плешинка.

Замечу, что прозвища у нас давались учителям не ради прозвища, то есть это не было самоцелью, а для того, чтобы вызвать хоть какую-то ответную реакцию, иначе оно не имело бы смысла и не обладало никакой жизнеспособностью. Все учителя реагировали на свои прозвища. Каждый по-разному. Случались даже истории. Порой очень забавные и интересные.

Но, пожалуй, то, как относился Герасим Гаврилович к своему прозвищу, было интереснее. Он был к нему до того равнодушен, словно бы плешинка розовела не на его голове. Ученики нервничали, говорили, что до него «не доходит», и испытывали всяческие средства, чтобы «довести» до Герасима Гавриловича, что он — лысый.

Средства были дерзкие, отчаянные, порой даже крайние. Например, мы были свидетелями того, как старшекласники «кодлой» сочиняли о Лысом разные стишки и отдавали их младшему сыну Герасима Гавриловича, первокласснику Генке, чтобы он вложил эти стишки в тетради, которые отец приносил домой для проверки. Генке наказывали популярно и строго:

— Когда твой пахан найдет в тетрадке стишки и начнет их читать, — зырь в оба, глаз с него не своди, запоминай, какой он будет. Если что скажет — тоже запомни. Завтра нам все расскажешь. Понял?

— Ага, ага. Понял, — часто кивал головой Генка, готовый с честью выполнить возложенное на него поручение.

На другой день Генку встречали на крыльце, не совсем вежливо брали за шиворот и торжественно тащили в раздевалку. Зажимали в дальнем углу, нетерпеливо начинали допрос:

— Ну, как?

Простодушно пожав плечами, Генка давал ответ:

— А никак. Я положил в тетрадку — он прочитал. Сначала упражнения прочитал, отметки поставил, потом прочитал то, что вы дали.

— Ну, ну...

— Вот и все.

— Как все? А куда дел?

— Что?

— Что! Стишки, бал-да!

— Кто?

— Кто! Кто! Дурачок! Пахан твой.

— Там же, в тетрадке, и остались.

— Во-о-от Лысый! — допрашивающие в недоумении переглядывались. — Ну, а когда читал, хоть злой был?

— Не-е-е, ни капли.

— Может, хоть хмыкнул или что?..

— Не-е-е. Только ошибки исправил и все.

— Ну Лысый! Ну Лысый! Не клюет! — сокрушались старшекласники.

И видя в Генке плоть и кровь Лысого, говорили ему напористо и ядовито: — А все равно твой пахан — Лысый! Вот так, понял?! Шмалляй!

— По-о-онял! — охотно соглашался Генка и, радуясь, что отчет прошел без особых осложнений, резвым козлом впрыпужку бежал в свой класс.

Листки со стишками, найденные учениками в своих тетрадках, шли гулять по всей школе. Стишки выучивали и декламировали, не таясь, все, кто хотел. В общем это были самые безобидные творения. Правда, порой бессмысленные и почти всегда безграмотные, так как — это обстоятельство надо учитывать — писались наспех, а главное, не для проверки. Ошибки грамматического рода Герасим Гаврилович исправлял, бессмыслицы жирно, как бы укоряюще, подчеркивал красными чернилами и на полях ставил головастые вопросы. Иногда пытался дотянуть стишки до более или менее приемлемого уровня: зачеркивал отдельные слова и вписывал другие, считая, что так будет лучше. Помню, в четверостишии:

«Лысый спит и видит сон:

Будто в класс заходит он,

А за партами сидят

Двадцать с лысиной ребят» —

Герасим Гаврилович в последней строке выражение «с лысиной» зачеркнул и выше написал «лысеньких». Исправленный вариант и был принят всеми. Кроме авторов, которые из духа противоречия считали свой вариант более удачным...

Теперь мне уже никогда не вспомнить иных учителей, что входили в наш класс. Других же сохраняю в памяти и сердце до конца. И это им моя дань за то, что учили меня хорошему, доброму. Учили по совести и долгу

своему. Они не забудутся. И все-таки их светлый образ тускнеет перед образом Герасима Гавриловича Корсакова, неповторимого, ни в чем не похожего на других. Ему в моей памяти особое место.

Невысокий, кругленький, в защитного цвета диагоналевой гимнастерке с отложным воротником, в диагональных же, но синих галифе, в сверкающих сапогах, он вошел в наш класс с улыбкой: наверное, в коридоре с кем-то говорил о чем-то веселом. И он не торопился погасить улыбку. С нею прошел к столу, положил журнал, с нею оглядел нас всех внимательно и сказал:

— Ну, что, братцы-кролики, здравствуйте? Как зовут меня, знаете? Знаете. Ну и я вас, шалунов, знаю. Как же. Ну, а за каникулы-то как, — плутовски прищурил один глаз, — подпортились, поди, а? Или нет, ничего? Возмужали, вижу. Прямо все такие красавицы да добры молодцы, о которых в старинных песнях поют да сказки сказывают, — и как бы кстати спросил, засветившись еще большим лукавством: — А вот кто их, сказки, такие интересные и забавные, порою страшные, складывает? Вы не задумывались?

«Действительно, кто?» — задумались мы, совсем не подозревая, что своим вопросом Герасим Гаврилович начал вступительный разговор о жанрах устного народного творчества — первой теме по литературе. И до того увлек нас этим разговором, что мы забыли даже пофокусничать. Хотя бы из уважения к традиции. А традиция эта состояла в том, что перед всяким новым учителем мы с такой осторожностью, с какой путник темной ночью пробирается по незнакомой тропе, выкидывали разные номера: мяукали, крякали, спрашивали что-нибудь нарочито-глупое, когда учитель проходил между партами, стреляли из-за его

спины в доску из резинки. Все это делалось, чтобы разведать слабые и тугие струнки нового учителя, на каких можно играть, а на каких опасно. На первом уроке Герасима Гавриловича было просто не до этого. Только Петька Резуненко исхитрился и «отмочил» один номер. Да еще какой рискованный и необычный! Потом Петька признавался, что сразу же после его выходки ему сделалось так не по себе, что у него даже шевельнулись уши и вспотел, одновременно похолодев, самый кончик носа.

Когда Герасим Гаврилович предложил нам назвать, кто знает какие пословицы и поговорки, все стали дружно поднимать руки:

— Ученье — свет, неученье — тьма.

— Дело мастера боится.

— Любишь кататься — люби и саночки возить.

— Сделал дело — гуляй смело...

Герасим Гаврилович одобрительно кивал головой:

— Правильно... Хорошо... Верно... Так, скажи теперь ты, — обратился он, наконец, и к Петьке, нетерпеливо и энергично вытянувшему вперед руку.

Петька встал гвоздиком и четко рубанул:

— Не всякий лысый — философ! — на слове «лысый» Петька сделал такой нажим, что его невозможно было не заметить.

То ли мне показалось, то ли в самом деле по классу прокатилось волной:

— Ы-ы-а-а-а-а-х-х...

Все замерли и выжидательно смотрели на Герасима Гавриловича. А он поднял брови, приложил ладонь к уху и, наклонив голову в сторону Петьки, переспросил, вдруг сделавшись серьезней:

— Как, как? Повтори-ка!

— Не всякий лысый — философ! — не моргнув глазом и так же четко, как в первый раз, произнес Петька и сде-

лал на слове «лысый» еще больший нажим.

Мы совсем оцепенели и ждали, что будет.

Герасим Гаврилович вскинул брови на такую высоту, что на лбу его собрались все морщины и поползли назад, к розовой плешине.

— О! — воскликнул Герасим Гаврилович, поднял вверх указательный палец и пристальным взглядом медленно обвел класс, совершенно не понимающий, как расценить восклицание учителя. — О! Вы слышите! Не всякий лысый — философ! Это ж великолепно сказано! Нет, вы вдумайтесь: мало иметь лысину, чтобы прослыть философом. А?.. Мудро! Однако, Петро, — Герасим Гаврилович обратился к Петьке, — есть другая и тоже справедливая пословица: «Иной лысый стоит кудрявчика» (как нам показалось, Герасим Гаврилович тоже сделал нажим на слове «лысый»). И обе, твоя и моя, утверждают то, что утверждает третья: «Ум не в волосах, а в голове». Верно? — Герасим Гаврилович тоненько и весело засмеялся, приободрившийся класс дружно поддерживал учителя.

Наверное, в этот самый момент Петька представил себе другой, не очень приятный исход выкинутого им номера, и у него, как он говорил, шевельнулись уши и вспотел, одновременно похолодев, кончик носа. Но поскольку все кончилось благополучно, мало того, дерзкая вылазка даже подняла Петьку в глазах учителя и учеников, это, должно быть, его взбодрило, и он с достойным видом воителя, по заслугам воздающего своему противнику, сказал:

— Остер топор, да и сук зубаст.

Конечно же, под острым топором Петька подразумевал себя, а под зубастым суком — Герасима Гавриловича. Хитрый Петька рассчитывал быть поощренным еще раз и не ошибся.

— Да я, брат, смотрю, с тобой разговариваться — что меду напиться. Садись, Петро, великолепно! — откровенно восхищенный Петькой, Герасим Гаврилович обратился ко всему классу: — Видите, что есть такое русские пословицы и поговорки? Они так мудры, метки, остры, что, используя только их, можно устраивать настоящие словесные поединки. Как это сумели мы с Петром.

Петька, приняв монументальную позу, достойно и гордо кашлянул.

А когда урок закончился и все высыпали во двор, Петька заключил категорически:

— Не-е-т. Наш Лысый — философ! — теперь он сделал нажим на слове «наш». Потом добавил совсем разочарованно:

— Только чуёт мое сердце, пацаны, — «в угол» у него фиг сходишь. Вот посмотрите...

Петька оказался прав.

Хождение «в угол» было одним из самых замечательнейших изобретений Петьки Резуненко, и я считаю необходимым рассказать о нем поподробнее. Как и многие замечательные и великие открытия, оно родилось в хитроумной Петькиной голове самым неожиданным образом, в самый критический, чуть ли не роковой момент. Он не раз признавался нам, что его осеняет именно тогда, когда уже все кажется безнадежным и пропащим.

Так вот однажды, еще в четвертом классе, когда нас учила Мария Семеновна Перепелицына, Петька не выучил стихотворение и очень переживал. Конечно, только из-за того, что не выучил, он никогда не стал бы переживать. Но в тот день его должны были спросить. Знал он это точно. Потому что умел вычислять, по какому предмету и в какой день его спросят. Вычислял, хорошенько готовился, получал

хорошие оценки и потом подолгу не заглядывал в учебник. Как получилось, что тому была за причина, сказать не могу, но стихотворение в тот раз он не выучил и лихорадочно думал, как быть? Что делать? Не единицу же получить в самом деле. Сказать, что болела голова? Мария Семеновна не поверит, потому что все, в том числе и Петька, очень уж часто сваливают свои грехи на якобы больную, а на самом деле вполне здоровую голову. Тогда, может, живот болел? Нет, тоже не поверит. Какая разница, что живот, что голова. Петька лихорадочно искал какую-нибудь вескую уважительную причину, но она не находилась. А между тем время шло. Его становилось все меньше и меньше. Наступал роковой момент.

— Рассказывать стихотворение пойдет...— Мария Семеновна склонила голову над журналом, ища фамилию ученика, который пойдет рассказывать стихотворение.

Петька был убежден, что будет названа сейчас его фамилия. И тут-то его осенило! Он оторвал от последней страницы тетради по арифметике небольшой клочок, запихал его в рот, сделал тугой шарик и в тот момент, когда Мария Семеновна подняла голову и посмотрела на него, чтобы назвать его фамилию, Петька пулынул шарик в Юрку Шаброва, тогда еще не бывшего Академиком.

— ...пойдет Резуненко. Резуненко!!! Это еще что такое! — Мария Семеновна даже притопнула от возмущения и негодования каблучком.— Сейчас же встань в угол!

Именно это Петьке и нужно было! Он поспешно, боясь, как бы учительница не переменяла своего решения, но и не так уж скоро,— чтобы у Марии Семеновны не возникли какие-нибудь подозрения,— поднялся и прошагал в угол возле двери. Теперь он знал — беда миновала его. Потому что ученик,

стоящий в углу, не только лишился всех прав, но и был освобожден от обязанностей, в том числе и от обязанности отвечать на заданные вопросы. От него требовалось только одно — стоять и не позволять себе новых безобразий. Пока шел опрос, Петька смиренно стоял в своем углу. А когда Мария Семеновна поднялась, чтобы начать объяснение нового материала, он посмотрел в ее глаза так умиленно и трогательно, что сердце Марии Семеновны растаяло. Петька получил прощение и сел на свое место.

Этот удавшийся прием Петька стал использовать во всех крайних случаях, которые, как он потом признавался, почему-то стали учащаться. Накопив достаточный опыт хождения «в угол», он с присущей ему щедростью поделился им со всеми желающими.

— Трудного тут ничего нет. Главное — отмотать такое, чтобы только — в угол,— инструктировал Петька.— Переборщишь — пропал, недоборщишь — тоже пропал. Нужно так, чтобы только в угол.

Петька знал, что говорил. Недоборщить — значит, быть поставленным на ноги. Ты лишаешься права сидеть, но за тобой остается обязанность отвечать на вопросы учителя. Переборщить — значит, быть выпровожденным из класса и попасться на глаза Марии Ивановне, директору школы, и тогда все может кончиться совсем скверно, даже вызовом родителей в школу. Прав Петька. Нужно «отмачивать» такое, чтобы только — в угол. Работа тонкая. Но скоро мы так наловчились ходить «в угол», что успеваемость к удовольствию учителей заметно повысилась, но, к их недоумению, в той же степени понизилась дисциплина.

Петькины слова насчет того, что у Лысого «в угол» не сходишь, оказались пророческими. Герасим Гаврило-

вич превосходнейшим образом, точно так же, как свое прозвище — Лысый, умел не замечать все наши «номера» и «фокусы». Ну, а коль так, то кому же захочется что-то вытворять? Да и, по правде говоря, вытворять было некогда. Уроки Герасима Гавриловича я бы сравнил с увлекательной книгой с интересными картинками. До «фокусов» ли, когда ты захлеб читаешь страницу за страницей и перед тобой постоянно стоит вопрос: а что дальше, а что потом? Порассматриваешь разноцветные картинки, понаслаждаешься ярким изображением того, о чем пишется, и опять читаешь: что дальше?

Очень легко удавалось Герасиму Гавриловичу приковать к себе внимание класса. На лице его постоянно блуждала легонькая, ласковая и немножко ироническая улыбочка. Она то раздвигалась, делалась шире, то сбежала к губам, но никогда не исчезала совсем. За ней скрывалось все — и мысли, и намерения его, которые очень хотелось угадать, но угадать заранее было никак невозможно. Оставалось одно: следить внимательно за каждым словом, жестом Герасима Гавриловича и узнавать все в свое время. Все мы были как бы на невидимых поводках у него, и он куда хотел, туда и вел нас.

Ответы учеников Герасим Гаврилович выслушивал обычно стоя, прислонившись плечом к косяку двери, приложив ладонь к щеке и устремив взгляд на пол. К примеру, Танька Плотникова рассказывает о разорении Рязани Батыем. Бойко рассказывает. Герасим Гаврилович внимательно слушает. На лице — улыбочка. Раз слушает, не перебивает, думает Танька, значит, правильно отвечаю. И продолжает еще бойчее, норовя припомнить, как написано в книге. Рассказала. Довольная, раскрасневшаяся от старания, вопросительно смотрит на учителя. Гадает: «четыре» или «пять».

«Четыре» или «пять»? — гадаем мы. — Конечно, «пять». Вон как шпарила. Почти назубок. Плотничиха же, аккуратистка, примерная ученица.

А Герасим Гаврилович, не меняя позы, стоит и молчит, о чем-то думает. Танька нетерпеливо ждет. Весь класс ждет. Наконец, Герасим Гаврилович отнимает от щеки ладонь, легонько отталкивается от косяка, раздвигает улыбку пошире, вскидывает вверх указательный палец:

— О! — направляет свою улыбку на Таньку. — О! — подходит к ней. — Как бишь тебя, Таня?

— Таня.

— Та-ня, — произносит Герасим Гаврилович задумчиво и нежно, склонив голову набок. Обращается к классу: — Та-а-ня. Нет, вы слышите, как это звучит: Та-а-аня... Слышите?.. Надо уметь не только слушать, но и слышать. Что суть вещи разные. Не только смотреть, но и видеть. Кинорежиссер Довженко, если мне память не изменяет, сказал: «Двое смотрят вниз. Один видит просто лужу, а другой — отраженные в ней звезды». А вот как однажды сказал мой ученик: «Пушкин пишет стихи так, будто скользит коньками по зеркалу льда». Прежде чем сказать такое, он читал Пушкина. А раз читал — значит, что-то видел, слышал, представлял, может, ощущал. «...Будто скользит коньками по зеркалу льда». В чем-то все-таки прав мой ученик. А?.. Та-аня... Какой букет звуков!.. — немного помедлив, продолжает: — Когда я в Могилеве служил мальчиком в лавке (Герасим Гаврилович был родом из Белоруссии. Говорил он с устойчивым акцентом: яшчык, мальчык, «г» произносил как «хг»), хозяин завел себе маленького попугайчика. Забавная такая птичка. Что бы хозяин ни сказал, бывало, почти все повторит. Года, однако, три он у него жил и все повторял. А своего ни одного слова не придумал. И не заметил я, чтобы у него

руки вместо крылышек выросли. Ничем на человека не стал похож: так птичкой для забавы и остался,— поворачивается к Таньке Плотниковой:— В хрестоматии повесть читала?— и, упреждая ее ответ, поднимает руку:— Не говори: знаю, читала. И не единожды. Значит, за всем, что происходило давным-давно в Рязани и вокруг нее, ты наблюдала как бы со стороны. Вот и рассказала бы нам, как свидетель тех страшных событий, что ты видела, слышала, переживала. Вот это нам было бы интересно послушать. А пересказывать зачем? Все читали, а кто не прочитал— пусть прочтает сам... Я знаю, ты девочка хорошая, старательная, но— «нуль»! Цена таким ответам, запомни,— «нуль».

У Герасима Гавриловича была своя система оценок— семибалльная, представляющая собой как вы нарощенную с обеих сторон общепринятую пятибалльную. «Единице» в его системе предшествовал «нуль», а за «пятеркой» следовала еще «шестерка». Однако эта его система носила всего лишь символический характер. Когда ответ ученика Герасиму Гавриловичу не нравился, он говорил:

— «Нуль»,— но тут же добавлял:— Хотя и с сожалением, но в журнал заносим «один».

И ставил ровненькую, как спичка, палочку. По-нашему — «кол». Иногда Герасим Гаврилович объявлял «нуль», но в журнале ничего не ставил, почему-то не находил нужным. При этом он просил ученика:

— Запомни: цена таким ответам — «нуль»...

В случае же, если ответ Герасиму Гавриловичу очень нравился, он в восхищении выбрасывал вверх указательный палец и восклицал:

— О! О!.. Превосходно! «Ш-ш-шесть!» — решительно брал ручку, добавляя:— Но, к сожалению, «пять» пишем, один запоминаем. Обязательно

но! Да такое и не захочешь — запомнишь! Оригинально!..

— А что значит слово «оригинально»? — спросил однажды Петька.

— Оригинально? Это значит сказать или что-то сделать по-своему, как еще никому не удавалось. К примеру, ты, Петро, иногда бываешь оригинальным.

Последними словами Герасима Гавриловича Петька был весьма польщен. И решил еще прочнее и надежнее укрепить в учителе, а заодно и в учениках мнение, что он, Петька, и в самом деле не лыком шит, а хорошо навоенной дратвой и может быть оригинальным в чем хочешь. А не только иногда, как сказал Герасим Гаврилович. Не откладывая выполнение задуманного в долгий ящик, Петька на следующем же уроке поднял руку выше всех и по собственному желанию пошел рассказывать наизусть «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Начал, как и подобало ему, бойко, четко, выразительно:

«Как ныне собирается вещий Олег
Отмстить неразумным хазарам,
Их села и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в царградской броне
Князь по полю едет на верном коне».

Отчеканив это шестистишие, Петька с подчеркнутой многозначительностью в голосе сказал:

— И так далее.

Герасим Гаврилович, стоявший в своей обычной позе возле двери и внимательно слушавший Петьку, поднял на него ничего не понимающий взор.

— «И так далее»? Что это?

— Ну бывает же, когда хотят сэкономить бумагу, то пишут: «и т. д.», «и пр.», «и др.», а когда хотят сэкономить время, то говорят: «и так далее». Вот я и экономлю. Зачем все рассказывать, когда и так каждому ясно, что Олега ужалила змея и он умер, а вся его дру-

жина с горя перепилилась на холме возле Днепра. Да и сами вы говорили,— в этом месте Петька снизил голос,— что от пересказываний пользы никакой.

Герасим Гаврилович блуждающим взором, словно бы только что очнулся ото сна и не может понять, где он, обвел класс и лишь потом поднял палец.

— О!.. О!.. Он рассказывает...— повернулся к Петьке: — Что ты нам рассказываешь?

— «Песнь о вещем Олеге» Александра Сергеевича Пушкина,— ничуть не теряя достоинства, ответил Петька.

— Он рассказывает *песнь*! Говорят, из песни слова не выкинешь. Почему? Да потому, что после такой операции она делается инвалидом второй группы! А он,— Герасим Гаврилович, как штыком, ткнул пальцем в Петьку, не поворачивая к нему лица,— он, вандал! варвар! палач! грубой ручищей схватил чудное творение и, ничтоже сумняшеся, одним махом отсек ему голову, а туловище вместе с самым дорогим — душой выбросил к чертям собачьим! Ты понимаешь, что ты соделал?! — обернулся к Петьке.

— Зато так оригинально,— попробовал защитить себя Петька.

— Псев-до! Понимаешь? Не понимаешь. Значит — лже! Лжеоригинально! Преступнооригинально! Это кощунство! Начинай все сначала.

Петька заметно скис. Замаялся. Однако делать было нечего, начал. Но дойдя до тех слов, после которых он сказал «и так далее», умолк.

— Дальше?— как бы подстегнул его Герасим Гаврилович.

Петька утер нос рукавом, хотя делать это было совсем не обязательно.

— Забыл...

— «Нуль»,— сказал Герасим Гаврилович, словно пригвоздил Петьку к позорному столбу, и взял ручку.— «Нуль», но с величайшим сожалением пишем «один»...

— Ну и Лысый! Я же говорю — фи-

лософ! Его фиг проведешь. А колище мне всади-и-л! Я заглянул. Жирный и во всю клетку,— безо всякого огорчения скажет это Петька потом, на перемене. А пока шел урок...

— «Песнь о вещем Олеге» пойдет рассказывать...

— Можно, я пойду,— донеслось робкое с задней парты.

Все разом оглянулись до того удивленные, как если бы услышали живой голос самого Александра Сергеевича. Оглянулись и увидели Вовку Ступенькова с поднятой рукой.

— ...пойдет Ступеньков,— сказал Герасим Гаврилович и отошел к двери. Никакого удивления на его лице мы не заметили.

Вовка Ступеньков был в нашем классе на особом положении. Впрочем, Вовкой его никто не называл. Учителя, разумеется, только Ступеньковым, а мы, ученики, Коланей. Это прозвище ташилось за ним еще с первого класса. А получил он его за рекордное число «колов» как в тетрадках, так и в журнале. Перетягивая из класса в класс, Лидия Степановна дотянула его до пятого. Удалось ей это только потому, что Коланя, как правило, в конце учебного года «брался за ум» и начинал учиться так, что утирал носы самым способным ученикам и, естественно, был перетаскиваем в следующий класс. А потом, словно бы боясь потерять свое прозвище, опять лоботрясничал до самой весны. В пятом Коланя застрял. Наверное, потому, что учителя по предметам были разные и «тянули» они его не очень дружно. В шестом Коланя тоже остался на второй год. Его определили в наш класс. По-видимому, он решил остаться в шестом и на третий год: к учебе был равнодушен так же, как, скажем, гусь к сену. Как и положено лоботрясу, Коланя сидел «на камчатке», то есть на самой по-

следней парте в углу. Спокойный от природы и апатичный от обуявшей его лени, он никому не мешал, не безобразничал. Поставив на парте кулак на кулак, он клал на них голову и со сладкой мечтательностью смотрел в окно. Смотрел, смотрел — и засыпал. Очнувшись, зевал, потягивался и начинал чем-нибудь развлекаться. Рисовал, читал книжки или просто рассматривал в них картинки. Что-нибудь жевал, иногда пил принесенный в бутылке мед. Учителя, видя все это, никаких замечаний ему не делали: все, что не мешало работе с классом, Колане разрешалось. Домашних заданий не проверяли, за пропуски уроков не ругали. Коланю просто не замечали.

Правда, однажды, еще в самом начале учебного года, новенькая историчка, задав классу вопрос, посмотрела в журнал и вызвала отвечать Коланю, который как раз начал засыпать, положив голову на кулаки. Услышав свою фамилию, он даже изумился — так странно она для него прозвучала. Поднял голову, удивленно и сонно посмотрел на учительницу, после некоторого колебания стал тяжело, по-стариковски, только что без кряхтения, подниматься, но во весь рост так и не поднялся, сел на спинку скамейки и сказал вяло, через силу:

— А меня не надо спрашивать.

— Почему? — удивилась учительница.

— А все говорят, что я этот... как же... debil, — и, как бы подтверждающая сказанное, растянул широченную, во все лицо, идиотскую улыбку. — Вам разве не говорили? У нас на всю семью — одна извилина. И та прямая. Гы-гы... — и, как мешок с овсом, сполз на скамейку.

Класс засмеялся, а учительница смутилась, — ей, наверное, и в самом деле забыли сказать о Колане, — пожала плечами и вызвала отвечать другого ученика.

Уже со следующего урока историчка, как и другие учителя, не стала замечать Коланю. Значит, получила о нем исчерпывающую информацию.

То одиночество, в котором протекала школьная жизнь Колани, порой наскучивало ему. Видно, и его душа, от всего отрешенная, беспечно дремлющая, иногда требовала общения с людьми. Когда это требование бывало особенно настойчивым, он поднимал руку, желая что-то сказать. Но учителя старались не замечать Коланиной руки, зная наперед, что ничего путного он не скажет. Тогда Коланя, уловив момент, вклинивался:

— Вот свежую рыбу ловят в реках, соленую — в соленых морях. Это я знаю. А копченую? В копченых, что ли? — при этом лицо он делал глуповато-наивным.

Учительница географии смотрела на него с такой насмешливостью и безразличностью, как если бы Коланя был какой-нибудь безобразной букашкой или студенистой медузой, и мерно кивала головой:

— Сидел бы уж... Темнота.

— Да? Значит, вы меня боитесь?! — картинно удивлялся Коланя.

— С чего бы это?

— А темноты все боятся. Даже взрослые. А женщины так в первую очередь...

Класс был доволен, смеялся. Учительница строго замечала:

— Ничего смешного не вижу. Просто глупо.

А то Коланя предлагал разгадать загадку:

— До каких пор волк в лес бежит?

Но вместо разгадки ему говорили:

— Да-а-а, трудновато, видно, тебе жить так вот, лоботрясничая.

— А я стойкий. Трудностей не боюсь, — не теряясь, отвечал в тон Коланя. — Как-нибудь перезимуем. Мне не привыкать.

Наверное, вот так же и на уроке ли-

тературы однажды потребовала напористо и безудержно Коланина душа общения.

Речь у нас шла о былине «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Герасим Гаврилович объяснял нам значения употребленных в былине старорусских слов, когда Коланя беспардонно вылез:

— А я вот сижу да думаю: во время войны наши солдаты были Ильями Муромцами, а фрицы — погаными Соловьями-разбойниками — и умолк, избрав, насколько мог, глупое лицо.

Умолк и Герасим Гаврилович. Поднял на лоб очки, одновременно захлопнул хрестоматию, выпустил на широкий простор свою улыбку, пристально, с любопытством поразглядывал Коланю, поднял вверх палец:

— О!.. О!.. Ступеньков! — рассек воздух пальцем, направил его на Коланю и обратился к классу: — Я слышал. А вы?.. Что есть такое фокус, знаете?.. — рукой, в которой держал хрестоматию, махнул на Петьку, уже открывшего было рот. — Да я не о твоих выходках. У этого слова есть еще и другое значение: точка, в которой собирается пучок лучей. Так вот он, Ступеньков, собрал, сфокусировал в словах, которые вы только что слышали, самую суть, соль былины. Он, — Герасим Гаврилович ткнул пальцем-штыком в Коланю, — постиг тайну произведения с необычайной, с завидной простотой! Великолепно, Ступеньков! Оригинально! «Шесть». С плюсом! Но, к сожалению...

Герасим Гаврилович поставил Колане «пятерку» с плюсом. Коланя, не ожидавший ничего подобного, смутился и спрятался за спины впереди сидящих учеников, но в душе, надо думать, был польщен. Каким бы лоботряс ни был лоботрясом, пусть хоть самым распоследним, а самолюбие есть и у него.

На следующих уроках русского язы-

ка и литературы Коланя по-прежнему бездельничал. Однако стал иногда краем уха слушать, о чем идет речь. Говорю это с полнейшей уверенностью. Потому что, бывало, нет-нет да и бросит Коланя, как бы нехотя, какую-нибудь реплику.

Скажем, Валька Козлова написала на доске под диктовку Герасима Гавриловича предложение: «По небу плыли рыхлые облака».

Кто-нибудь найдет допущенную ошибку, скажет, что после «л» следует писать «а», потому что к слову «облако» можно подобрать родственное слово, где «а» стоит под ударением.

— Какое же это слово?

И начинаются поиски родственного слова.

— Облачко.

— Облачность.

— Облачный, — предлагают ученики.

— Все не то, все не то, — возражает Герасим Гаврилович. — Нужно слово, в котором «а» стояло бы под ударением. Есть такое слово?

— Это слово не проверяется ударением. Его надо запомнить, — неуверенно говорит Валька Козлова.

— Можно, конечно, и запомнить. Все, что хочешь, можно запомнить. Но все-таки лучше понять. А когда поймешь — запоминать уже не надо... Но вернемся к «облакам». Есть у них родственное слово, в котором «а» стоит под ударением. Давайте будем его искать.

И все начинается сначала: «облачность», «облачко», «облачище» и даже «облаковатость».

— Да нет же, нет... Не там ищите.

— Да обвола-а-акивать, — не поднимая головы и не отрывая взгляда от окна, скажет Коланя с некоторой раздраженностью. Мол, я не стал бы вмешиваться в ваши дела, но, поверьте, надоело, слушать тошно, такого пустяка сообразить не можете.

— Слышали? Обвола-а-акивать, — повторит Герасим Гаврилович. — Все вы на одном месте топтались. Так не найдешь. А вот Ступеньков — смелый, ступил шаг в сторону и — нашел. О!..

Коланя испытывает удовольствие. Как он ни старается, чтобы это не проявлялось внешне, — ничего у него не получается — видно. Кидать реплики на уроках Герасима Гавриловича стало для него своеобразной игрой, развлечением. А всякая игра, если она нравится, вызывает азарт. Коланя все больше и больше прислушивался к тому, о чем идет речь на уроке, и заметно меньше дремал и глазел в окно. Случалось, что Коланя поспешал и говорил что-нибудь невпопад.

— Не то, — как и каждому другому ученику, возражал ему Герасим Гаврилович.

Колане становилось досадно. Стучал кулаком по лбу, ругал себя вполголо-са:

— Не знаешь, так не высовывайся, дурак...

Однажды мы писали в классе сочинение на тему: «Запомнившийся мне случай». У каждого ученика такой случай нашелся. Кто-то прошлым летом ходил в лес по ягоды и видел зайца, кому-то посчастливилось поймать громадную щуку, кого-то прокатил на автомобиле дачник. Вот тут Петькино «и так далее» будет как раз на своем месте, потому что каждому ясно: ребяташек волнует то, что им близко; что, на их взгляд, значительно, то они и описывают.

На другой день Герасим Гаврилович принес стопу тетрадей с нашими, уже проверенными, сочинениями, снял сверху одну тетрадку, положил ее на свой стол, остальные протянул дежурному:

— Раздай.

Когда все увидели свои оценки и исправленные ошибки, заглянули в тетради соседей, погалдели, Герасим Гав-

рилович взял отложенную тетрадь, за-тасканную, помятую, с кляксами и жирными пятнами на обложке.

— Теперь все послушайте, — открыл тетрадь и стал читать.

За давностью лет я, конечно, не смогу сейчас точно воспроизвести того, что прочитал нам Герасим Гаврилович, но смысл помню отлично.

Случаев разных полно. Что ни день, то какой-нибудь да случай. Вот хотя бы вчера. Пришел я из школы, матушка налила мне миску щей и говорит: «Ешь. Горячие щи, вкусные». И подала ложку. Деревянную. Старую-пре-старую. Узоров, какие были на ней, давно уже не видно. Края потрескались, местами выщербились. Этой ложкой еще мой дедушка ел. «Скоро, наверно, выбросят ее», — подумал я про ложку. — А знает ли она вкус щей? Ведь всю жизнь в них купалась? Ничего она не знает. Дерево и есть «дерево». Поел я и пошел в библиотеку, книжки сменить. Прихожу, а библиотечарь Василий Хорин, как всегда, «косой» сидит, в шапке и дымит вовсю сигаркой. Прямо в морду деду Дашкову. Сколько лет уже сидит Хорин среди такой уймы книг, а толку-то от этого — культуры не набрался. Вот и весь случай.

— О!.. Уразумели? — спросил Герасим Гаврилович, кончив читать. — Великолепно! По содержанию лучшее сочинение из двадцати шести. Оригинально! Это ж притча!.. А теперь полюбуйтесь-ка, — Герасим Гаврилович, приложив тетрадь к груди, показал нам текст. — Видите?

Мы увидели. Сочинение занимало всего одну страницу. Но на этой странице было сделано столько исправлений красными чернилами, что создавалось впечатление, будто на ней давили ягоды калины.

— За содержание — «шесть» с двумя, с тремя плюсами, за грамматику — три «нуля»! — Герасим Гаврилович по-

Дошел к Колане, бросил на парту тетрадку, приставил к Коланиному лбу указательный палец.— У тебя ж ума палата, на четверых хватит, еще и пятому останется,— наклонился к самому уху Колани и как бы по секрету, но громко, чтобы слышали все:— А кем ты им кажешься? — обвел класс рукой.— Задумывался? Ни черта не задумывался! Воли, усидчивости в тебе нет. А человек без воли — солома! труха! навоз! дерьмо! Таких не уважаю. А чего мне тебя уважать, если ты безразличен сам к себе? Значит, ты тоже себя не уважаешь. Сиди, кисни,— Герасим Гаврилович резко повернулся и направился к своему столу. Не дойдя до него шага два, обернулся.— Все-таки ты подумай...

А на другой день вслед за Петькой, потерпевшим большую неудачу со своим «и так далее», Коланя, к великому удивлению класса, вышел по собственному желанию читать наизусть «Песнь о вещем Олеге» Пушкина. Смущенно, отвернув голову в сторону, чтобы не смотреть ученикам в глаза, он без единой запинки рассказал все от первого стиха до последнего. Герасим Гаврилович поставил ему оценку. Какую именно, сейчас не помню. Только не «шесть», к сожалению, пять пишем, один запоминаем...» — это точно. Герасим Гаврилович не очень высоко ценил наше мастерство художественного чтения. Слушая нас, он часто мотал головой и морщился, как если бы, рассказывая стихотворение, мы постоянно наступали ему на большую мозоль. Сам же Герасим Гаврилович читал превосходно. Его можно было заслушаться. И мы заслушивались. Очень вероятно, что со временем он смог бы и нам, если не всем, то кому-нибудь из самых способных, передать хоть небольшую толику своего мастерства. Тогда ему меньше приходилось бы морщиться и, как знать, может, иногда он произносил бы даже

свое «О!.. Великолепно!». Но однажды, закончив урок, он закрыл журнал, снял очки, спрятал их в нагрудный карман гимнастерки, улыбнулся и сказал:

— Ну вот, братцы-кролики, и все. Теперь с вами будем встречаться только в коридоре, на улице... Завтра к вам придет новая, постоянная учительница,— сунул под мышку журнал, сделал прощальный знак рукой.— Будьте молодцами,— и направился к двери...

Мы были опечалены, нам не хотелось расставаться с Герасимом Гавриловичем, хотя еще и не привыкли к нему как следует, хотя еще и не поняли его до конца. Он явился к нам как добрый и пламенный сказочник, раскрыл большую интересную, с веселыми картинками книгу, прочитал несколько страниц, показал кое-какие картинки и ушел... А самое-то интересное, самое увлекательное в той книге было бы потом, впереди...

И вот к нам в класс вошла... Нет, не вошла, а, как я уже говорил, впорхнула Зоя Сергеевна, очень напоминающая своим обликом ласточку.

— Здравствуйте. Садитесь,— сказала бесцветным прохладным голосом.

Открыла журнал и стала с нами знакомиться. Называла по списку фамилии, мы поднимались и говорили: «Я». Так как Зоя Сергеевна смотрела в журнал, читая фамилии, то на учеников взглянуть не успевала. Только на некоторых бросала короткий взгляд и попутно делала замечания, если кто пытался «фокусничать»: «Неумно». Или: «Стань правильно». Или: «Не вижу ничего смешного». Или: «Не обезьянничай».

Когда знакомство закончилось, Зоя Сергеевна велела нам закрыть учебники и тетради, потом сказала: «Всем сесть правильно». Проверила, как вы-

полнены ее приказания, и лишь тогда сообщила:

— Сегодня мы будем изучать басню Ивана Андреевича Крылова «Осел и соловей».

Открыла хрестоматию, прочитала басню. Спросила:

— Кому что не ясно?

Нинка Кочуганова подняла руку, встала и спросила:

— А что такое Авр... Авр... Аврора?

— Аврора? — Зоя Сергеевна немножко помедлила и немножко покраснела, наверное, оттого, что это был первый вопрос, который ей задали в нашем классе. Глаза ее забегали вверх-вниз, влево-вправо, шмыгнули в хрестоматию, остановились на нижней кромке страницы. — Авророй древние римляне называли богиню утренней зари. — И Зоя Сергеевна покраснела почему-то еще больше, ни дать ни взять сама стала похожа на утреннюю зарю. Наверное, потому, что это был первый ответ, который она дала в нашем классе: ведь всякий человек, даже если он учитель, смущается, когда попадает в новую обстановку и к новым людям. — А сейчас...

Мы не успели услышать, что должно было быть «сейчас», потому что тут черт дернул за язык Петьку Резуненко:

— А еще есть сигареты «Аврора», — при этих словах Петька незаметно для учительницы, но заметно для меня и других похлопал по оттопыренному карману штанов и легонько подмигнул мне ухладкой.

Очень некстати вылез Петька со своими, вернее, с нашими сигаретами. Валька Козлова, а между нами просто Коза, первая в классе ябеда и подлиза, тут же подняла руку и бессовестно донесла:

— А Резуненко, — вызываяще и чуть-чуть брезгливо, как это умеют только ябеды и подлизы, покосилась на Петьку, — Резуненко на прошлой

перемене в дровнике курил. Я видела.

Петька моментально весь съежился и втянул голову в плечи, словно боялся, что с потолка на его макушку может свалиться что-нибудь тяжелое. Я же не только съежился. Я готов был залезть под парту, только бы не попасться на глаза Козе, потому что на прошлой перемене в дровнике Петька курил не один. Курили Коланя, Академик и я. Коза могла видеть и нас.

— Школьникам курить нельзя. Вы это знаете, — сказала учительница строго, но голос ее, кажется, не предвещал большой беды. — И какие бывают папиросы и сигареты, тоже знать нельзя.

На этом, для всех более или менее благополучно, разговор о злосчастной Авроре закончился. Когда прозвенел звонок, Петька выразительно показал Козе кулак и прошипел:

— Подожди, пойдешь домой...

Конечно, прошипел только для порядка. Петька был доволен, что отделался всего-навсего лишь коротеньким внушением. Подмигнул мне:

— Айда?

И мы пошли в дровник. К нам присоединились еще Коланя и Юрка Шабров, прозванный за большие познания во всех науках и за большое число прочитанных книг Академиком. Коланя курил уже по-настоящему и открыто. У него было большое преимущество перед нами: как отпетый, он никого не боялся. Академик — напротив, только начинал и не очень успешно. Когда ему оставляли «бычка», он «зобал» и заходил в таком кашле, что Петька всякий раз закрывал ему рот ладонью и шипел:

— Выдашь же, стервоза!

Петька с горьким сожалением, даже чуть ли не со вздохом, утверждал, что Академик — не курец. От природы. И всегда давал ему «бычка» неохотно. Да и Академик просил не настойчиво. Для него большее удовольствие со-

ставляло просто присутствовать и наблюдать, как курят другие. В таком удовольствии ему никогда не отказывали, но платил он за него тем, что стоял на вассере.

— А новая училка ничего, не очень вредная,— сказал Петька, прикуривая.— Другая, если бы услыхала про курево, сразу бы — покажи карманы и — к директору.

— Из городских,— заметил Коланя,— ишь какая вся расфуфыренная.

— Интересно, замужняя, нет? Замужние «колов» меньше ставят,— авторитетно заявил Петька.

— Ты че! Откуда замужняя,— скептически сморщил нос Коланя.— Может, года на три, самое большое на четыре, старше меня.

— А по-моему,— вступил в разговор Академик, который стоял возле дощатой двери и смотрел в щель. В случае возможной опасности он должен был сказать: «Атас!»,— по-моему, у нее получилась любовная драма. На ее лице печать...

— Пошел ты со своими драмами и печатями знаешь куда,— ехидным тоном прервал Петька Академика.— Поначитался всякой муры про любовь, вот и мелеше теперь хуторню... Давай, смотри, Коза не подкрадывается?

Академик ничего возражать не стал, прищурил один глаз, другим прильнул к щели.

— Нет, все-таки она замужняя,— твердо сказал Петька и обосновал свое утверждение замечанием, которого я не расслышал, вернее, не понял.

— Фигня это,— махнул рукой Коланя.

— И ничего не фигня,— стоял на своем Петька.

— Да узнаем, чего спорить.

На этом разговор в дровнике и закончился.

А на следующем уроке, едва Зоя Сергеевна, войдя в класс, сказала

«здравствуйте — садитесь», Петька спросил нараспев:

— А вы откуда прие-е-ехали?

Зоя Сергеевна мельком бросила на Петьку нарочито равнодушный взгляд и сказала:

— Всем закрыть учебники и тетради. Слушайте первый вопрос...

Но Петька опередил ее, задав свой вопрос, уже несколько настойчивее:

— А вы замужем?

— Мы изучаем русский язык и литературу, а не мою биографию,— ответила Зоя Сергеевна резко, с вызовом.

И вызов ее тут же был принят Коланей. Он спросил, как и обычно, придурковато:

— А это правда, что у вас была любовная драма, и вы из-за нее уехали из Москвы в Сибирь? — про Москву Коланя сочинил, Академик такого не говорил.

Зоя Сергеевна покраснела еще сильнее, чем вчера, когда объясняла слово Аврора. Она сделалась багровой.

— Что за наглость! — и с такой силой ударила кусок мела об пол, что он раскололся на несколько частей. Одна из них, самая большая, угодила в лоб не кому-нибудь, а самому Академику. Зоя Сергеевна кинулась к двери и убежала из класса.

А через некоторое время с конца коридора, где находилась учительская, послышался и стал приближаться хорошо знакомый нам скрип туфель: грызо-грызо, грызо-грызо, грызо-грызо. В наших ушах скрип этот звучал так: «Безо-бразье!», «Безо-бразье!». К нам шла Мария Ивановна, директор школы. Один зловещий скрип ее туфель нагонял на нас куда больше страха, чем отец Вальки-Козы, который работал милиционером. Он всегда носил пистолет и, говорят, у него в кармане были еще наручники — на тот случай, если вдруг поймает, скажем, бандита или какого другого опасного преступника, Валькиного отца мы

просто боялись и все. А при появлении Марии Ивановны мы трепетали. Если, к примеру, она шла во время перемены по коридору, ученики по стойке смирно выстраивались вдоль стен и переставали дышать. Слышно было только зловещее: грызо-гразо — «Безо-бразье!»

— Безобразье! — сказала Мария Ивановна, войдя в класс, и мы застыли, окаменели.

В такие моменты, когда Мария Ивановна бывала чем-то возмущена, она смотрела одновременно на всех, но ни на кого в отдельности. Словно бы опасалась, что если посмотрит на кого-то одного из учеников, то с ним что-нибудь случится, скажем, он упадет в обморок. Если она отчитывала в своем кабинете отъявленного хулигана или лоботряса, то смотрела на него и не на что другое, а только на гранитный чернильный прибор. Будто Мария Ивановна знала, что только камень способен вынести огонь ее взора, все остальное треснет, рассыплется, завянет. — Безо-бра-зи-е! Кто вам дал право? Я вас спрашиваю: кто вам дал право так обращаться с учителем?! — Она выговаривала слова, будто гвозди вбивала в стену. — Что это еще за дурацкие вопросы? Чтобы больше этого не было! — Мария Ивановна постучала по крышке стола пухлым пальцем, но звук почему-то получился твердый и сухой, как если бы она постучала голый костью. Сверкнула глазами и вышла.

«Безо-бразье!», «Безо-бразье!» — доносился из коридора удаляющийся скрип ее туфель. Потом жалобно скрипнула дверь учительской и стало тихо, как в глубоком погребке...

Вот такой мы знали директора Марию Ивановну. И, конечно же, не думали, не подозревали, что она может быть другой. Но, оказалось, может. Однажды, когда я уже закончил техникум и работал преподавателем в

профтехучилище, мы с ней встретились в поезде. Я ехал навестить родителей, а она из гостей от сына, который работал инженером на большом заводе в большом городе. Мы разговорились, и я узнал другую Марию Ивановну, немолодую женщину с живым, но совсем не пугающим взором, доверительную и любезную. Она кое-что рассказала мне из своей жизни, обычной жизни обычного человека, то есть нелегкой и во многом даже интересной. Почти незаметно пролетели два часа, и мы расстались. И тогда я подумал: а что, собственно, такое особенное произошло, что изменилось за какие-то пять лет? Едва ли за это время стал сколько-нибудь другим нрав Марии Ивановны. Но зато изменился я. Теперь я не ученик ее, а взрослый самостоятельный человек. Вот потому Мария Ивановна и сохла возможным показать себя другой. Такой, какой, думаю, она была на самом деле...

Уже на следующий день наши отношения с Зоей Сергеевной вошли в привычное для нас, ровное, без крутых поворотов, без разливов, без порогов и отмелей русло, и не выходили из него до самого окончания седьмого класса. Зоя Сергеевна приходила в класс, говорила нам «здравствуйте-садитесь», вела опрос, ставила, кто какие заслужил, оценки, походя делала замечания: «Романов, не попугайничай», «Шабров, стань на ноги», «ничего нет смешного». Объясняла новый материал. Порой до того монотонно, что хотелось положить голову на руки и заснуть. Как это делал Колана. Кстати, о нем. Как и прежде, он протирал штаны на своей «камчатке». А с наступлением весны отец Колани, колхозный тракторист, взял его к себе прицепщиком, и на этом, насколько я знаю, Коланино образование закончилось.

На уроках русского языка и литера-

туры мы снова стали ходить «в угол». Но вскоре, правда, только на уроках литературы перестали пользоваться этим приемом, избавляющим нас от неминуемых «двоек» и «колов», потому что Петька — опять же он! — избрал, или, как говорил он, вывел новый, куда более надежный и безопасный способ получения отличных и хороших отметок.

Однажды Петька подошел ко мне иронически-загадочный:

— Братишка, дай характеристику Тарасу Бульбе.

Эта Петькина просьба меня немало удивила. Гоголя мы уже давно «прошли», а ему вдруг понадобилась зачем-то характеристика Тараса Бульбы, которую он сам же давал у доски. Я это отлично помнил, потому что с ним тогда еще произошел небольшой казус. Тогда Петька... Впрочем, об этом вспомним чуть позже.

— Повторение — мать учения. Для твоей же пользы, дурушлеп.

В Петькиных словах я уловил нечто такое, что сулило добро. Это меня подкупило, и я выпалил:

— Тарас Бульба — смелый, храбрый, мужественный, отзывчивый, очень любит свою родину и очень ненавидит своих врагов. Правильно?

— Если бы во время ответа ты не чесал свое пузо, то было бы даже отлично, — оценил мой ответ Петька. — А теперь дай характеристику Остапу. Для твоей же, говорю, пользы, братишка, — предупредил Петька мой возможный отказ.

— Остап — смелый, храбрый, мужественный, отзывчивый, очень любит свою родину и ненавидит... — я запнулся, потому что сказал что-то не совсем так. Ах, да! В спешке я пропустил слово «очень». «Очень ненавидит...», — так говорила Зоя Сергеевна. На поиски и исправление ушла какая-нибудь секунда... — и очень ненавидит своих врагов.

— О! Великолепно! — Петька поднял палец вверх, подражая Герасиму Гавриловичу. — Допер?

— Что?

— Нет, ты тупее, чем я думал, — разочарованно сказал Петька. — Тогда дай-ка еще характеристику...

— Все гениальное — просто! — изрек стоявший тут же Академик. — Я уже допер.

Кажется, я тоже допер.

Чуть позже «доперли» все, кто хотел. И началось...

Бывало, Зоя Сергеевна скажет:

— Дать характеристику Чапаеву. К доске пойдет...

И тут вырастал лес рук. Зое Сергеевне это очень нравилось. Готовились, знают! Ее учительское самолюбие торжествовало. Вызванный ученик шел к доске и, едва успев повернуться лицом к классу, начинал чеканить:

— Чапаев (Корчагин, Теркин, Олег Кошевой, Сергей Тюленин и т. д.) — смелый, храбрый, мужественный, отзывчивый, очень любит свою родину и очень ненавидит своих врагов!

Зоя Сергеевна обожала эти четкие, ясные и особенно громкие ответы и с величайшим удовольствием ставила ученику «пять», если он отвечая не пытался сунуть руку в карман, не шмыгал носом или не делал еще чего-нибудь недозволенного. Если же что-нибудь недозволенное делалось, то оценка снижалась на один балл. Но так ли уж это важно? «Четверка» оценка тоже хорошая. Только вот жаль, что новый, выведенный Петькой метод нельзя было применить с таким же успехом на других уроках, скажем, алгебры, физики, истории. Не будь этого недостатка, представляю, на какую высоту можно было бы поднять успеваемость в классе! И даже в школе! И даже во всех школах района! И даже!.. Впрочем, к чему мечтать и восторгаться невозможным?..

Мы видели, как торжествует учительское самолюбие Зои Сергеевны, когда вырастал лес рук учеников, желающих идти давать характеристику Чапаеву (Корчагину, Теркину, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину и т. д.), видели, как она обожает наши четкие, ясные и особенно громкие ответы. Но она старалась не выказать своих чувств, потому что находила неприличным для учителя обнажать их перед учениками. Должно быть, она считала, что это то же самое, что рассказывать школьникам свою биографию. Или смеяться вместе со всем классом над чем-нибудь и в самом деле смешным.

Вот тут и будет кстати вспомнить о казусе, который произошел с Петькой, когда он по собственному желанию пошел давать характеристику Тарасу Бульбе. Надо ж было такому случиться, что пока он шел к доске, забыл имя Тараса. Невероятно, но забыл. С выдающимися личностями — а Петька среди нас был именно такой личностью — вечно случаются разного рода странности. Например, гениальный Эйнштейн был физиком, а, рассказывают, скорости звука не помнил. «Но если это так необходимо, — говорил Эйнштейн, — то мы ее моментально вычислим». И все-таки ему было легче, чем Петьке. Он мог вычислить, а вот попробовал бы гениальный Эйнштейн вычислить имя Бульбы, которое забыл и с которого надо начинать ответ. Сказать просто Бульба — не скажешь, потому что Остап и Андрей тоже были Бульбами. Но не было такого положения, из которого Петька не выпутался бы. Он кашлянул и начал, как всегда, бодро:

— Товарищ Бульба, отец Остапа и Андрея, был...

Последующих Петькиных слов уже никто не слышал, их заглушил наш дружный смех. Смеялись мы от души: очень уж непривычно для слуха прозвучало слово «товарищ» в сочетании

с «Бульбой». Зое Сергеевне тоже хотелось рассмеяться вместе с нами. Очень хотелось. Это видно было по ее лицу. Но Зоя Сергеевна мужественно боролась сама с собой, старалась во что бы то ни стало спрятать, законопатить внутрь себя вдруг явившееся чувство веселости. Для этого ей пришлось даже отвернуть голову в пустой угол, чтобы ученики — упаси, боже! — не видели ее лица, сделавшегося вдруг таким до прелестности ясным и простым. Но нет, ничего не вышло у Зои Сергеевны. Из ее груди вырвался звук, который она хоть и пыталась подать нам как кашель, но то был самый настоящий смех. Это поняли все. И она сама поняла и испугалась. Испуг помог ей прийти в себя и принять прежнее казенно-строгое выражение лица.

— Нет ничего смешного! — сказала Зоя Сергеевна.

Но как же нет, когда мы смеялись и видели, что ей тоже было смешно?..

В тот день я был дежурным по классу, и как только настала перемена, я пошел в учительскую за колбами, пробирками и разными препаратами, потому что после литературы по расписанию шел урок химии. Когда я отворил дверь учительской, меня окатило мощной волной смеха. Лица учителей были обращены к Зое Сергеевне.

— ...Да главное с таким серьезным видом: «Товарищ Бульба», — и она тоже засмеялась. Открыто и вольно. Лицо ее, как и на уроке, опять сделалось прелестным. Даже еще прелестнее. Оно было очаровательным.

Я стоял и любовался лицом Зои Сергеевны, забыв, зачем пришел.

Зоя Сергеевна, должно быть, почувствовала на себе мой пристальный взгляд и повернула голову ко мне. Брови ее дрогнули, и она сделалась серьезной и строгой.

Другие учителя тоже повернулись ко мне и тоже сделались серьезными и

строгими. И даже как будто обескураженными, смятенными, словно бы они увидели во мне свидетеля какого-то их неблаговидного поступка.

— Что тебе? — недовольно спросил учитель химии Михаил Евграфович.

— Я за колбами...

— Бери, — указал он на подоконник, на котором было приготовлено все, что требовалось для урока.

Когда я затворил за собой дверь, в учительской вновь послышался смех.

И вот тогда в голову мне пришла мысль, от которой я не могу отделаться по сей день: придя в класс, Зоя Сергеевна начинала играть какую-то роль. Должно быть, она считала эту свою роль очень важной, потому что играла ее добросовестно и четко, не допуская никаких вольностей и отклонений. И ей, конечно, было досадно, что Петька рассмешил всех своим «товарищ Бульба». Он на какое-то время сбил ее с роли. А в седьмом классе, уже в конце учебного года, сбил с роли Зою Сергеевну многознающий Академик. Однажды он пристроил на коленях какую-то книгу и ушел в чтение с головой. Потому и не заметил, как подошла Зоя Сергеевна и потребовала:

— Дай сюда.

Бесхитростный Юрка вытащил из-под парты небольшую толстенькую книжку и неохотно передал ее в руки учительницы. Зоя Сергеевна прочитала на обложке имя автора и сказала:

— Читать Есенина тебе еще рано. И вообще не советую его читать.

— Почему? — спросил Юрка.

Станный все-таки народ эти академики. Сколько и чего только не знают, а все им мало. «Почему?» — спрашивает. А того не понимает, что он ученик, и от него требуется молчаливое согласие, а не вопрос, которого учительница не ждет. А раз она его не ждет, значит, он сбивает ее с очень важной серьезной роли. И естествен-

но, что Зоя Сергеевна рассердилась и сказала нервно:

— Читать надо только то, что проходим, а не всякую бестолковщину. Есенин — поэт легкомысленный, он воспевал только чувства да вино.

— Значит, Пушкина и других тоже не надо читать? — совсем осмелел и съязвил Академик.

Зоя Сергеевна посмотрела на него непонимающе и растерянно. Юрка пояснил:

— «Подыдем стаканы, содвинем их разом! Да здравствуют музы, да здравствует разум!..»

— Шабро-о-ов! — изумилась Зоя Сергеевна. — Это же Пуш-ш-шкин!

— Ну и что?

— Как что?! Это Пуш-ш-шкин! Его изучают!

— Запретить надо, потому что «и за учителей своих заздравный кубок...»

— Шабров! — оборвала его Зоя Сергеевна, потому что это было уже слишком. — Каким ты тоном разговариваешь?! — и снова вошла в свою роль. По логике дальше должен был следовать эпизод удаления Академика из класса или даже отправления к директору. Но Юрке повезло. Зоя Сергеевна этот эпизод почему-то опустила. Наверное, потому, что времени оставалось мало, а надо было еще закрепить новый материал.

Не знаю, запомнил ли Юрка этот случай и какой вывод для себя сделал, если запомнил, не знаю, какие выводы сделали другие ученики, я же заключил, что настоящих поэтов столько, сколько «проходят». А из современных «проходили» тогда Твардовского, Симонова, Тихонова, Исаковского. Кажется, еще кого-то. Вот они и есть настоящие поэты.

Однако каково же было потом мое разочарование! Не скажу, что оно было неприятным...

Я поправил под мышкой книги.

«Освобожденное от туч,
Все небо розово и звездно.
Я увидал зеленый луч...»

Зеленый луч... Зеленый луч... И буд-то докатилось плутавшее где-то эхо: «Ах, это стихи!..» Как коротко и как ясно...

С такими грустно-веселыми мыслями я и подошел к дому Герасима Гавриловича. Еще с улицы заметил его самого. В соломенной шляпе, в синей выгоревшей на плечах рубашке он что-то строгал рубанком на верстаке, устроенном под небольшим навесом возле стайки. Сдал Герасим Гаврилович, еще больше сдал: усох, ссутулился, и рубанок в его руках казался тяжелым, и гонял он его как-то неуклюже.

Звякнул снятый мною крючок калитки. Герасим Гаврилович поднял голову, сдвинул на лоб очки, прищурил глаза, вытянул вперед шею. Не может узнать... Нет, узнал. Заулыбался все так же, ласково-иронически.

— О! — вскинул вверх указательный палец. И тут же погрозил им: — «Я стар, но взор мой не угас!»...

Знакомые слова... А-а-а-а, так значит, четвертый экземпляр сборника Мартынова здесь! Герасим Гаврилович купил его раньше, чем мне захотелось ему подарить.

— Прахады, ддарагой, прахады. Гостем будэш, — Герасим Гаврилович любил иногда ради потехи сказать что-нибудь с кавказским акцентом, и получалось у него это превосходно. На фронте он воевал в одной роте с аварцем, тоже учителем. Аварец читал и переводил Герасиму Гавриловичу стихи Абуталиба и Гамзата Цадасы, а Герасим Гаврилович читал ему басни Крылова, и они вместе переводили их на аварский. Этот язык он немного

знал и восхищался его мелодичностью.

— Чем это вы занимаетесь?

Герасим Гаврилович, сопя, пристально порассматривал меня, плутовато прищурил глаз.

— Поточным методом выпускаю кружки для кадок. Заказ бабки.

— А сама-то тетя Аня где?

Герасим Гаврилович молчит. Лукавит. Сейчас что-то такое, ребусное скажет. И сказал. Нарочито вяло, обыденно:

— В командировке.

— Далеко уехала?

— Ху-у-у-у! — значит, очень далеко, чуть ли не на самый край света. И тут же ткнул пальцем в огород. — В погребе. Огурцы солит. Ну, айда, «дурачком» тебя оставляю.

И он повлек меня в дом.

Я уже знаю, что будет дальше. Из-за зеркала на стене Герасим Гаврилович достанет завернутую в зеленую бумажку колоду карт, не торопясь развернет, подведет меня к книжному шкафу и начнет, цокая языком, хвастать тем, что у него появилось нового. Будет исподволь поглядывать на меня — очень ли я завижду, — понаслаждается, когда заметит, что у меня заблестели глаза при виде какой-нибудь новинки или редкости. Потом начнет мне предлагать свой старый вариант обмена: он мне — собрание сочинений Джека Лондона, я ему — шеститомник Александра Грина. Я, как и раньше, буду не соглашаться. Он сделает вид, что обиделся, демонстративно спрячет карты снова за зеркало. Но видя, что я к этому совершенно равнодушен, почешет свою уже не плешинку, а плешь, и начнет испытывать новый вариант. Вытащит из глубины шкафа «Крылатые слова» Ашукиных, взвесит в руках, скажет:

— Между прочим, вещь для тебя необходимейшая, — а сам будет как кот на сало, поглядывать на «Письма

из Русского музея» Солоухина, которые вместе с другими, купленными у Татьяны Михайловны книгами, я пристроил на комод.

Я засмеюсь бесцеремонно и посмотрю на него в упор.

— «Крылатые слова» у меня есть.

— Откуда?!

— А вы мне подарили. Два года назад. Забыли?

Он будет сражен. А я буду радоваться, наслаждаться до тех пор, пока не почувствую, что вот-вот Герасим Гаврилович и вправду обидится. Тогда я протяну ему «Письма...».

— Возьмите. Они ваши. Дарю. У меня журнальный вариант есть.

— О! Чудесно! — обрадованно воскликнет Герасим Гаврилович. — В нашем купил?

— В нашем.

— Вот старая гримза! А ж у нее десять дней назад был.

— А «Письма...» поступили позавчера. Чаше ходить надо.

— Виноват — исправлюсь. Ну, давай в «дурачка».

И мы будем играть в карты. Сколько конов сыграем, столько раз я останусь в «дурачках». Знаю это наперед, но сажусь всегда с большой охотой, потому что с Герасимом Гавриловичем играть интересно, забавно.

— Шестерка бубей, черт ее бей!.. А мы ее тихонечко девяткой. Отбой?.. Иду на тебя мальчиком (значит, вале-том. У Герасима Гавриловича здесь своя терминология)... Ты бьешь его их величеством (королем, значит) да еще козырным? Богато живешь... Ладно. Вот тебе еще один мальчик-удальчик... Ну, что? Их величества-то больше у тебя нет... О-о-о! Ты выпускаешь на нас девочку (даму)? Тогда дело — дрянь. Только твое, а не наше, потому что у нас тоже есть девочка. Вот она, белобрысенькая... Э-э-э! Стоп! Стоп! Назад пузатого (туза) — не в масть.

Туго? То-то. Спаси тебя мог бы только козырный пузатый, а он — у меня. Уж так и быть, отдаю его тебе. Хе-хе! Ду-ра-чок!..

Потом вылезет из своей «командировки» и придет в дом тетя Аня. И начнет нас потчевать чаем со свежим земляничным вареньем.

Мы с Герасимом Гавриловичем будем пить чай и вести разговоры про жизнь, потом незаметно перейдем снова к книгам, а от них к школьным делам.

— Пищат, — с усмешкой подмигнет мне Герасим Гаврилович и удовлетворенно потрет ладони. — Некоторые — не будем называть имен — пищат. А раз так, то значит Василь Иванов, Василь Петрович, взялся за дело крепко. Мужик он с головой, и знаю: своего добьется. — Герасим Гаврилович испытующе покосится на меня и скажет с откровенной гордостью: — Мой ученик!..

Потом Герасим Гаврилович расскажет что-нибудь о своей далекой и воистину бедной молодости. Как учился портняжному мастерству, как служил в лавке, а в соседней лавке брал книги и журналы, с каким интересом читал их. Вспомнит какой-нибудь занимательный роман из «Нивы» и начнет рассказывать свежо и ярко, будто только вчера закончил читать его.

И, слушая, я подумаю: а вот чтобы Герасим Гаврилович сбивался с роли, я не видел, не помню. Потому что он играл только самого себя. Притом всего себя, без остатка, и мы ждали не конца, а начала следующего его урока.

Вот о чем я подумаю. А еще я опять вспомню:

«Освобожденное от туч,
Все небо розово и звездно.
Я увидел зеленый луч...»

И представлю: какой он яркий, пронзительно зеленый этот зеленый луч!

Чудно красив! И потому он, наверно, так редок, что красив...

Дальше я буду только слушать Герасима Гавриловича. Он так увлекается рассказывает. А когда закончит — будет обед. С настойкой, приготовленной доброй тетей Аней. А потом... Еще много чего будет потом. А вот кружков для кадок сегодня у тети Ани не будет. Это уж точно.

* * *

Месяц назад, когда я поставил последнюю точку в конце своего повест-

ования, думал ли я, что у него будет этот эпилог. Вчера пришло письмо от тети Ани:

«Спасибо тебе за поздравления с праздником. Спасибо, что и там, далеко, ты не забываешь нас. Только живу я теперь одна. Герасим помер. Двенадцатого числа этого месяца будет полгода. Вот такая тебе новость...»

Значит, когда я писал о Герасиме Гавриловиче как о живом, его уже не было на свете... Хотя как это не было? В памяти-то моей, в сердце он жив и будет жить. Умрем мы вместе. Это уж точно...

Семен Печеник



Дымят дымы по всей деревне...
Закат спокоен и багров.
И в чистом сумраке вечернем
Живет мычание коров.

О, эти древние привычки!
Откуда радость без причин?
А в высоте тугой и зычной
Висит сияние осин.

Дымят дымы по всей деревне.
Готовят ужин для людей.
И кажется таким напевным
Обыкновенный скрип дверей...

Валерий Зубарев

ИЗ ЦИКЛА «СЕРЕДИНА ВРЕМЕНИ»



Бегут с портфелями в руках
Мальчишки шалыми шажками,
и стужа алыми мазками
воспламенилась на щеках.

И кажется, что топольки,
нескладные, как страусята,
от ветра зверского куда-то
помчатся наперегонки.

И холм, встречающий восход,
встопорщенный, как еж спросонья,
на закрошнях уже не солнце,
а сгусток холода несет.

...Да, лета нет, а есть лета...
Слепой снежок уже не тает,
и, встрепенувшись, отлетает
душа предзимнего листа.

Да, снова осень... Ах не ах,
но снова осень... Снова, снова...
И как ни петушилось слово —
немее в стынувших губах.

Кто знал, что может их связать
без церемоний осень эта...
Хочу... и не могу сказать,
что не лета прошли, а лето...

● ● ●

Если что-то не суждено,
успокой себя умно и страшно:
и бесплодное это зерно
истлевает в земле не напрасно.
Не в своем, так в чужом колоске
возродится. А разве для жизни
исчезают бесследно в песке
не упавшие в пашню дождевки?
След любой — бессмысленный след.
Чья из судеб второстепенна?
Не ропщи!.. Расточительства нет
в трезвом пиршестве жизнеобмена.
Назначение тебя обойдет?..
Успокойся — с тобою значенье:
Даже камень лежащий — и тот
оттеняет живое движенье.
Даже камень, наверное, ждет,
что свернет к нему это течение,
и подхватит его, понесет
молодая вода назначения.

● ● ●

— Свет погас; ах, свет погас!..
—Ничего. Дадут сейчас.
Не кумекай:— Где же свечка?..
Темень в доме, но она
беззащитно, как овечка,
отступает от окна.
На нее из мрака ночи —
гипнотически остры —
устанавливаются по-волчьи
необжитые миры.
Крепок домик пятистенный.
И недаром в этот час
робко жметесь к нам Вселенной
одомашненная часть.

Птичка

Дочь природы — динь да динь! —
только веки распахнет,
солнца свет и неба синь
неизменно воспоем.

И когда бесцветен день,
и когда уныла даль,
раззвенится — звень да звень! —
и развеется печаль.

Очищая, высота
входит в явь ее и сны, —
и душа ее чиста,
и глаза ее ясны.

Снова певчая звезда,
засияв на своде дня,
миг напомнила, когда
звали птенчиком меня.

г. Прокопьевск

Владимир Власов

И Г Р О К

Р а с с к а з

Плотник Сучков после ужина ната-скал полный бак воды, сложил в поленицу дрова и подмел возле крыльца. И все это быстро, чисто, не приседая и не перекуривая. Жена его Марфа — грузная старуха — еще продолжала мыть посуду, а Сучков стукнул на пороге каблуками и приветствовал ее метлой «по-ефрейторски». Марфа строго посмотрела на мужа, браво выпятившего тщедушную грудь, спросила грубо:

— Чего мыкаешься?

— В шахматешки звали...

— Так бы и говорил, а то шустришь, метлой махаешь... Где играть будете?

— В палаточном городке...

Пока Сучков менял рубашку, Марфа ворчливо перечисляла все грехи и пороки жителей палаточного городка. Сучков молчал, боясь озлобить жену, хотя ему и хотелось напомнить ей свою палатку с нестроганым полом и вечно протекающим верхом, из которой они переехали в дом всего месяц назад. Торопясь, он никак не мог застегнуть верхнюю пуговицу. От нетерпения даже застонал легонько и выскочил на улицу с раскрытым воротом.

В десятиместной палатке, где собирались любители шахмат, было накурено досиня, и противники видели друг друга словно в тумане. Но Сучкова узнали сразу.

— Дорогу шахматному королю! — рявкнул черночубый детина, нависший копной над столом, сбитым из сырых досок.

Разбуженный этим ревом, на топчане поднял голову лысый человек, сказал в тон детине:

— Расступись, грязь, — навоз плывет!

И сказал-то негромко, а услышали все. И враз повернулись к нему. А человек-копна сгреб лысого за грудки и поднял с топчана.

Кто-то шепнул:

— Счас Костя ему плешь погладит...

Лысый хрипло выругался, но Костины могучие пальцы шевельнулись, и ругань застряла в глотке.

— Это... то, что за шмакодявка поднимает тут-волну?

— Он новенький, Костя, — пояснил хозяин палатки, страстный шахматист Анатолий Иванович Шапкин. Пугливо прячась за спину лысого, он показал на пальцах решетку и предостерегающе затряс головой. Костя опустил лысого на топчан и пробурчал несколько слов, из которых новичок понял, что Тимофей Дмитриевич Сучков — чемпион геологической экспедиции по шахматам, что Костя работает с ним в одной бригаде и в обиду его не даст. Не

вичок молчал, прикрыв глаза. Он не глянул на Костю даже тогда, когда тот представился:

— Костя Чекан.

Он назвался Семеном Семеновичем Тюльпановым и отвернулся. И вот тут на какой-то короткий миг Костя поймал его неломкий, полный лютой злобы взгляд и передернул плечами, как от озноба. И потом, когда все уже успокоилось и чемпион Сучков играл сразу на пяти досках, Костя ловил себя на том, что оглядывается на спящего или дремлющего Тюльпанова и ощущает неприятный холодок между лопаток.

Тимофей Дмитриевич выиграл у пяти противников и, казалось, засветился от радости.

— Ты вроде помолодел, старина, — сказал Костя. — Даже морщин поубавилось.

Сучков улыбнулся по-детски счастливо и крикнул:

— Есть порох в пороховницах...

Он прохаживался возле стола, горделиво приподняв плечи и ступая сперва на носок, а потом на пятку. Голову нес высоко, победно, по-петушину, склонив ее малость набок.

Шахматисты засобирались по домам. Костя ушел первым, хотя жил рядом в такой же палатке.

Шапкин долго упрашивал Сучкова остаться еще на одну партию, ссылаясь на то, что все работают в ночной смене, а Тюльпанов им не мешает. Чемпион отказался, но когда все вышли, глянул на полыхающий закат и неожиданно согласился — «время терпит».

Партия затянулась. Уже совсем стемнело, а игра продолжалась. Шапкин упорно сопротивлялся, хотя положение его было очень тяжелое. Зажгли керосиновую лампу. Встал Тюльпанов, мельком глянул на безнадежную позицию Шапкина. Анатолий Ива-

нович отчаянно мотнул головой и, глядя в сторону, сказал:

— Надо сдаваться...

— Зря! — возразил Тюльпанов.

Сучков удивленно посмотрел на новоявленного шахматиста, снисходительно усмехнулся:

— А вы попробуйте, товарищ...

Тюльпанов, не спуская глаз с доски, протянул руку к папиросам, нащупал одну, прикурил от лампы.

— Пробовать не будем — одна пробовала, да родила. Вам мат в три хода.

Сучков снисходительно засмеялся.

Тюльпанов аппетитно пыхнул дымком и сделал первый ход.

Чемпион засуетился. Третьим ходом Тюльпанов победил.

— Святые отцы! — ахнул Сучков. — Это что же делается?

Он растерянно посмотрел на Тюльпанова и попросил сразу охрипшим голосом:

— Одну партию...

— Только на интерес! — ответил Тюльпанов.

— Это как же?

— А вот так же: можно на деньги, на бутылку, на что хочешь.

Тимофей Дмитриевич побледнел, словно его тяжело оскорбили. Он никогда не слышал, чтобы в шахматы играли из-за выгоды. Он и жене-то всегда расхваливал эту игру за то, что она для ума, для души, а не для пустой траты времени.

— В этой игре я, рядовой сапер, делаюсь полководцем, — говорил он старухе. — Под началом у меня целая армия: и пехота, и кавалерия, и артиллерия, и танки...

— Ладно, ладно, полководец! Развоевался, — обрывала его Марфа, если была не в духе. — Танки, пушки... Сам мухи не убьет, а туда же...

Она умолкала, неслышно шевелила губами и говорила мягче:

— Вояка... У тебя и дело самое мир-

ное — строгай да прибивай. А ты хоро- хоришься.

Тимофей Дмитриевич пытался шу- тить:

— Я старый солдат! А что до гене- рала не дослужился — не моя вина. Если бы сейчас...

Марфа тяжело вздыхала:

— Войну не вспоминай — я раз под бомбежкой была и то... И на кровь смотреть не могу...

Тимофей Дмитриевич знал пере- менчивый нрав своей супруги и ста- рался не спорить — «сама отойдет». И правда.

— Игра умственная, — соглашалась Марфа, когда бывала в хорошем на- строении, — не то что карты или это проклятое домино — лупят оглоеды по столу до самой ночи, аж стукоток в ушах.

Поэтому Сучков даже обиделся, уз- нав, что в шахматы играют корысти ради. Он уж хотел было уйти и кепку с гвоздя снял, но уходить приходилось побежденным, а этого уже давно не случалось. Да и кто победил-то? Со- всем незнакомый человек. Хотя в ша- хматах он, конечно, силен, если из та- ких положений выкручивается. Сучков был настоящим шахматистом и от сильных противников не бегал, а искал с ними встречи. Он повесил кепку на гвоздик, пригладил ладонью короткие седые волосы и обратился к Шапки- ну, усмехаясь стыдливо:

— С деньгами незадача, Анатолий Иванович, — займи, если проиграю, три шестьдесят две.

И глянул на Тюльпанова: «согласен ли?»

Тюльпанов сел к столу, коротко бро- сил:

— Беги к продавщице домой, Толя. Она по ночам дома торгует, по четыре рубля за бутылек. Ну, да разница за мой счет.

Шапкин еще не вернулся, а Тюльпа- нов уже выиграл партию. Ошарашен-

ный чемпион сидел за доской, пытаясь найти возможность спасения своего ко- роля.

«Боже мой! — думал он. — Как меня зажали черные! Как зажали! Ить ни- какой лазеечки не оставили! Где же выход?»

Мысли еще лихорадочно прыгали с варианта на вариант, путались и рва- лись, а Тимофей Дмитриевич уже знал, что выхода нет и надо сдавать- ся.

Зашелестело брезентовое полотнище входа, Анатолий Иванович кашлянул за спиной чемпиона, задохнувшись от быстрой ходьбы:

— Кому вручить приз?

И поставил бутылку на стол.

— Тюльпанову, — буркнул Сучков и положил белого короля.

Тюльпанов снял с полочки три круж- ки, налил в них водку, сказал не- громко:

— Прошу обмыть победу.

Сучков отказался, Шапкин выпил. Закурили. В палатке было тихо. Толь- ко где-то под самым верхом, одурма- ненная табачным дымом, жужжала крупная осенняя муха да слабо потре- скивал в лампе фитиль.

Тюльпанов поднял белого короля, поставил на свое место и повернул до- ску черными фигурами к Сучкову.

— Белые выигрывают, — заявил он.

— Не может быть, — запротестовал Сучков.

— Берусь обыграть вас белыми в этой позиции, Тимофей Дмитриевич, при условии, что вы все-таки выпьете за мою победу.

Сучков глянул на Тюльпанова: «не шутит ли?» Нет, говорит серьезно и не пьяный совсем. «Но как же можно обыграть в таком безнадежном поло- жении? Это ж прямое нахальство так заявлять!»

Сучков заерзал на скамье, словно сидел на иголках. Искушение было ве- лико, и он не совладал с ним:

— Согласен!

На двенадцатом ходу белые блокировали черного короля, и Сучков выдал:

— Сдаюсь...

Он нехотя выпил степлившуюся водку и как-то очень быстро опьянел. Называл Тюльпанова Семеном Семеновичем, потом Сенечкой, допытывался с пьяной настойчивостью, где он так научился играть и откуда прибыл в геологоразведочную экспедицию.

Тюльпанов ухмылялся, отмалчивался. Сучков расхотелся, послал Анатолия Ивановича за водкой, предложил сыграть еще.

— Разухарился, — посмеивался Тюльпанов. — Хорошие игроки всегда так делают: сперва проиграют, а потом заплачут и пойдут.

Чемпион экспедиции совсем размяк, говорил ласково:

— Сеня, сынок, ты зачем возникаешь? Ты не возникай! — И снова проиграл. Разлили по кружкам водку. Тимофей Дмитриевич отодвинул кружку, попросил жалким голосом:

— Еще разок для успокоения души.

Тюльпанов отмахнулся от него, как от мухи, вышел на улицу. Анатолий Иванович шепнул Сучкову:

— Ты с ним не шибко... Он только что из тюрьги — пырнет ножом — и поминай как звали.

Поминутно оглядываясь на вход, Шапкин поведаль Сучкову, что Семен Семенович битый волк и в лагерях среди уголовников всегда держал верх. Судя по его рассказам, он много мошенничал: у баптистов он был проповедником, а в апостольской вере даже объявил себя тринадцатым апостолом. Но Сучкова уговорить было невозможно. Горькая обида терзала честолюбивого старика: «Неужто я так паршиво играю, что он со мной и разговаривать-то не хочет? Мне же только одного хода не хватило, и был бы ему мат. Не может быть, чтобы я не выиграл!»

Уже заснул на своем топчане Шапкин, а Сучков еще упрашивал Тюльпанова.

— Не буду, — отказывался Тюльпанов.

— Почему?

— Я игрок, а ты слабак.

— Говори, на что играть!

В глазах Тюльпанова вспыхнули и погасли недобрые огоньки. Сказал глухо:

— На раз-два по морде...

И, усаживая опешившего старика на скамейку, пояснил:

— Выиграю — дам тебе по морде или заставлю тебя ударить твоего друга Костю.

Сучков икнул.

— К-Костю не трону. Меня пожалста, а Костю...

Тюльпанов равнодушно зевнул

— Слабак...

Сучков придвинулся ближе, выдохнул страстно:

— Только б выиграть, а уж морду я тебе наколупаю, сволочь ты поганая!

Через полчаса он стоял на коленях перед Тюльпановым и просил избить себя, но не трогать Костю. Он даже протрезвел от мысли, что надо идти и бить своего ученика, бить сонного, ничего не подозревающего, совсем беззащитного. В неярком свете керосиновой лампы лысая голова улыбающегося Тюльпанова вдруг напомнила Сучкову череп. Он ойкнул и бросился к выходу. Но Тюльпанов цепко схватил его за воротник, бросил на топчан, зашипел, как рассерженный кот:

— Тихо надо. Я срок тянул — законы знаю. Сейчас ты пойдешь и врежешь поленом по морде Косте...

Коротко стукнув, в стол впилась блестящая финка.

— Ну!

Сучков встал, не спуская с финки испуганных глаз. Тюльпанов сунул ему кружку с водкой, усмехнулся:

— Для храбрости...

Шагнул в угол, вытащил из-за печки-барабанки полено, протянул Сучкову.

Тимофей Дмитриевич взвесил полено на вытянутой руке, словно приносиваясь к нему, и вдруг бросился на Тюльпанова. Но тот по-змеиному гибко уклонился от удара и комком кинулся в ноги Сучкову. Сучков упал на спину и потерял сознание. Поднять старика Тюльпанов не смог. Оглянувшись на Шапкина, он секунду слушал его храп, потом взял Сучкова за ноги и волоком потащил по нестроганому полу к выходу.

На рассвете Сучков очнулся от холода и пополз домой. Из всего, что было связано с Тюльпановым, он помнил только холодный блеск финского ножа и мерзкое чувство страха. Сильно болела голова, и нельзя было понять, отчего она болит: то ли от удара, то ли с похмелья. Но головную боль еще можно было стерпеть. А вот спина и зад болели так, что у Сучкова при малейшем движении слезы лились градом, и он тоненько поскуливал сквозь стиснутые зубы.

Тимофей Дмитриевич пытался вспомнить, бил ли его Тюльпанов, и не мог вспомнить. Показать спину Марфе он стыдился. Марфа сходила в медпункт за фельдшером.

Фельдшер уважал чемпиона экспедиции и явился немедленно. Не обращая внимания на просьбы Сучкова удалить Марфу, он снял со старика одеяло, Марфа глянула и ахнула — спина и тощий зад мужа, наспигованные занозами, посинели и вспухли.

— Что же ты делал, аника-воин? — рыдающим голосом крикнула Марфа.

Сучков скосил на нее налитый кровью глаз и промычал что-то непонятное.

Фельдшер почесал затылок, хмыкнул, сказал твердо:

— Доски задом строгал твой воин! Пока фельдшер мыл руки и гото-

вился извлекать бесчисленные занозы, Марфа выпытала у мужа подробности необычайного шахматного турнира «на интерес».

В конце рассказа она уже не могла усидеть на месте и суетилась возле вешалки, отыскивая старую фуфайку.

Необъятная грудь ее ходила ходунгом, и Марфа бормотала с придыханием:

— Тюльпанов, говоришь? Ладно, посмотрим...

— Не ходи, — попросил Сучков, — он срок тянул...

Марфа умолкла, прислушиваясь, но муж крякнул и затих.

— Чихать я хотела на этот срок! Тюльпанов такой же арестант, как и прочие.

Она с трудом натянула на плечи фуфайку, сказала гневно:

— Это теперича они моду взяли сроками хвалиться. Небось, раньше из тюрьмы закоулками да переулками шли, чтоб добрые люди не видели. — Она задохнулась от волнения, прокашлялась и продолжала с накалом в голосе: — Это теперича каждый мазурик на плацкарте едет и рубаху на себе рвет: — «Я срок тянул!». Вроде он герой какой! А вокруг все от страха штанами трясут — он срок тянул.

Марфа выхватила из-за печки кочергу и сделала выпад, словно опытный фехтовальщик.

— Не смотри на меня так, Тимофей! Я вот потяну его кочергой, дак он впереди своего визгу бежать будет.

Фельдшер попытался задержать Марфу в дверях, но она легко отстранила его и стремительно вышла.

Никто в экспедиции не видел и не знал, как Марфа объяснялась с Тюльпановым и куда он исчез на следующий день, бросив документы в отделе кадров. Но все знали, что кочергу старик Сучков носил править в кузницу.

Олег Философов



В повседневном платье сером,
Но с решимостью в глазах
Рядом с ним неслышно села,
За улыбкой скрыв свой страх.

Сухо губы облизала.
Взгляд метнула на окно.
— Понимаешь,— вдруг сказала,—
Мы не виделись давно.

Он вздохнул, поправил куртку,
Повернулся строго к ней
И, сердито глянув, буркнул,
Сухо буркнул:— Пару дней.

И замолк. А час вечерний
Наплывал, прозрачно тих.
Был безлюден зал черчения,
Не считая их двоих.

От полов несло мастикой.
Луч скользил по этажу.
— Знаешь,— солгала вдруг тихо,—
Я ведь замуж выхожу.

Замерла. Ждала, что снова
Скажет:— Брось ты, погоди!
Он привстал:— Ну, будь здорова.
Поздравляю. Выходи.

Отец и мать

И в памяти все дальше домик старый,
Отец и мать застыли у перил,
Когда рассветным гулким тротуаром
Я в жизнь свою из дома уходил.
И мать рукою смахивала слезы,
И говорил отец, чтоб я мужал
И слушал мать — носил пимы в морозы,
Слал письма и проведать приезжал.
И мне сжимали сердце их морщины
И грустный блеск, обильный блеск седин.
Ведь думали: «Вот, вырастили сына,
И уезжает, уезжает сын...»
Ведь в молодости, говоря по чести,
Недружно жили, выбор свой виня,
Я знаю: потому остались вместе,
Что надо было вырастить меня.
И долгий путь был ими вместе прожит
Военных и других крутых годин.
И годы примирили их, но все же
Ведь думали: «Вот уезжает сын...»
И между ними, рад и беспокоен,
Я поровну привязанность делил.
Но, видно, так уж был их мир устроен —
В одном году обоих схоронил.
И снилась мне недавно наша хата,
Отец и мать в туманной дымке дня.
Я звал их, но с улыбкой виноватой
Они все уходили от меня...

Лесной пожар

Дохнув загудевшим величием,
Пожара внезапная близь
И крики звериные, птичьи
В едином потоке слились.

Огонь одичал. По лесинам
Он мчался прыжок за прыжком
За мной и за стадом лосиным,
Своим аппетитом влеком.

И нас бы настиг он: с надрывом
Дышали мы, к сбою близки,
Когда б не упали с обрыва
В объятия широкой реки.

Под облаком черным, чадающим,
Считай, в фантастическом сне
Себя я увидел сидящим
На крепкой лосиной спине.

Вода изумрудно бурлила,
И радость спешила трубить...
Мне кажется, все так и было.
Могло, в крайнем случае, быть.



Холодное гулкое утро.
Зари желтоватый янтарь.
Рассыпан по рощице утлой
Листвы отрывной календарь.

Белесый молоденький иней.
Прибрежный седой известняк.
От мчащихся стай по долине
Струится упругий сквозняк.

И тихий, задумчиво глядя,
Стоит человек над рекой.
И медленно, будто бы глядя,
Озябшею машет рукой.

Владимир Коньков

ПОЕХАЛ ОН К ЧЕРНОМУ МОРЮ

Р а с с к а з

Вагонное окно чертили серые дождевые капли. Дорога предстояла дальняя, долгая. Пассажиры спали, кроме одного человека.

Григорий Иванович Шевцов уже около получаса стоял в коридоре и курил. Был он роста выше среднего, узкоплеч, коротко стрижен. Тонкощекое лицо с чуть округленным подбородком, на котором бело ошетичилась двухдневная борода, не скрывало, что пятьдесят лет уже прожиты. И прожиты, видимо, нелегко.

Думалось ему в это утро о многом. Но прежде всего о том, что вот неожиданно-негаданно выпала ему такая дорога и в самое неподходящее время. Надо бы крышу обновить да и к баньке пора приступить, плоха уже стала, пар не держит. Еще он думал о решетках, которые до самого его отъезда так и не завезли на уклон, о том, что у Литвинова родилась двойня. Словом, думалось обо всем, что осталось где-то далеко и отодвигалось все дальше назад. А утренний дождь чертил и чертил на окне серые строчки.

В отпуск Григорий Иванович должен был пойти только через месяц. В августе. А тут вдруг вызывают его в шахтный комитет. Прямо на наряд позвонили.

— К чему бы? — спросил Шевцов у начальника. А тот плечами пожал: дескать, не знаю, хотя видел Григорий Иванович, по его усмешке видел, что все тому известно. Но раз молчит — пытаться не стал. Во-первых, это не в его правилах, во-вторых, за ним грехов не водилось, так что бояться было нечего.

Председатель шахткома посадил его за стол, предложил закурить, полюбопытствовал:

— Как со здоровьем, Григорий Иванович?

Шевцов коротким жестом открытой ладони от сигарет сдержанно отмахнулся, достал свой «Беломор», прикурил от услужливо щелкнувшей зажигалки.

— А чего ему сделается, Петр Сафонович! От молодых не отстаю, по больницам не хожу, на лекарства денег не перевожу.

— Ты, Григорий Иванович, помнишь наше обещание? — председатель хитро сощурился, вроде как сигаретный дым ему в глаза попал.

Шевцов внимательно посмотрел ему в глаза.

— Это что ли про квартиру Маликову? Об этом у нас разговор, помню, был в прошлом месяце. Участковой комиссии пришлось вмешаться.

Председатель пружинисто поднялся со своего стула, улыбнулся:

— Каюсь, каюсь! Наша вина, просмотрели. Но будь спокоен, Григорий Иванович, с этим все в порядке. Так что будь спокоен...

— Мне что,— Шевцов аккуратно стряхнул пепел в пепельницу,— надо мной не каплет, а у Маликова шестеро, Петр Сафронич, сам знаешь...

— Да, говорю же тебе, поправили дело,— весело перебил его председатель,— не об этом сейчас речь. Забыл что ли, как бригаду Тишкина зимой чествовали? Ну, за освоение новой техники, не помнишь?

— Отчего же... забыл? — Григорий Иванович, по правде сказать, не мог сообразить, куда гнет председатель, но виду не подал: «Память вроде еще не отшибло. А Тишкин что! Умеет работать парень. Его вот чуток и надо было подтолкнуть. Когда голова соображает, руки будут работать!»

Председатель присел напротив: — Да нет, ты вспомни, что он сказал, вспомни. Григория Ивановича благодарить прежде всего надо! То есть тебя, так? Ну, вспомни?

— Да к чему ты этот разговор ведешь, Петр Сафронич? — не утерпел Шевцов.

— А к тому,— председатель вновь поднялся и подошел к своему столу,— что шахтком тогда пообещал вырешить тебе бесплатную путевку на курорт. И позволь мне, Григорий Иванович, выполнить приятную миссию и вручить ее тебе.— Председатель протянул Шевцову розовый листок бумаги.— На самый берег Черного моря,— торжественно объявил он.

— А зачем мне курорт? Хворости не имеют, к морю непривычный. И в армии по пехотному делу проходил. Там окопы рыл, ну а здесь в шахте. Квалификации схожие,— попытался отшутиться Шевцов. Но председатель строго сказал:

— Тебе, во-первых, как ветерану! А во-вторых, за то, что технику новую бригаде Тишкина помог освоить. Помог?

— Так кто им еще поможет: если не мы по-стариковски,— сказал Шевцов.

Вспоминая этот разговор, он и сейчас будто повторил те слова. И пришла ему на память история с тем же Тишкиным, теперь бригадиром, а тогда только из армии вернувшимся.

В бригаду он попал к Шевцову. И когда Григория Ивановича послали осваивать передовой опыт по внедрению анкерной крепи, взял он с собой и Тишкина.

Начальник участка удивился, узнав об этом, и начал было спорить:

— Желательно кого-нибудь из старичков, поопытнее!

Но Григорий Иванович настоял на своем. Уж больно ему хватка и настырность в работе Тишкина по душе пришлось.

А надо сказать, что для горняков крепь эта была очень непривычная. Простым языком говоря, гору всю во всех забоях на подпорках держат. Затяжку к кровле — так потолок в забое называется — стойку на почву, то есть вниз — вроде к земле. Ну и все понятно и привычно. Опора есть опора. А анкер — это вовсе другое. Там болты вверх вкручиваются, притягивая крепь к кровле, то есть к потолку. Впервые в забой войдешь — и оторопь возьмет. Опоры нет — и крепь висит. Не подпирает ее. А что как упадет?!

Вот когда в первый раз Тишкин увидел эту картину, так и убежал из забоя.

— За счет какой силы она держится? — все пытал он Шевцова.— На каком законе, когда под ней опоры нет?

Долго с опаской ходил, пока не уверовал в достижение науки, пока в удобствах новой крепи не убедился. А потом они вместе, уже на своей шахте,

за внедрение этих самых анкерсов премию получили. А про тот казус Шевцов никому не рассказывал, хотя Тишкин и не просил об этом.

Хороший бригадир из парня вышел, подружались они. Вот поэтому он и сказал: «Кто еще им поможет?»

А председатель свое:

— Мы путевку на юг обещали? И потом ты сколько в сельских шефах у нас ходишь? Дай бог памяти, пятый год? И все за счет отпуска. Не довольно ли? Помощники у нас для этого дела и без тебя найдутся. А ты уж давай-ка по-настоящему отдыхай. Это, считай, по линии охраны труда, понял! — весело заключил председатель. — И поезжай. На том разговор и кончим.

Вот тут и встал вопрос о сроках отпуска. А дело в том, что, действительно, Шевцов уже который год в августе уезжал в деревню Листвянку на уборку хлеба. Раз съездив по разнарядке, привязался неожиданно к этому делу всей душой. То ли сказала крестьянская кровь, то ли и вправду шахтеру под солнышком мило поработать, душу погреть, но, человек до техники охочий, окончил он без отрыва от шахтерского дела курсы трактористов и с тех пор каждое лето в отпуск уезжал в Листвянку.

Там у него и друзья завелись, появились кумовья. У одного из них — бригадира полевиков Важенина он и квартировал всегда. И домашние, и на работе к этому привыкли, и тут вышла такая неожиданность!

С одной стороны, Григорию Ивановичу и лестно было, что к нему внимание проявили, а, с другой стороны, может, есть какой болящий, которому это море край потребно. К тому же и дел у него по дому много. Хотел он их за неделю справиться и отбыть в Листвянку.

Но место оказалось для болящих без пользы, оно специально для отды-

ха. И по домашним делам выяснилось, что сыновья все справят. Так они ему заявили, да еще предупредили, чтобы не позорил он их перед людьми, коли такой почет ему оказали, а ехал бы и по всем правилам и законам отдыхал. Вот и едет в московском поезде Шевцов Григорий Иванович.

Вагон постепенно начал просыпаться. Прошла проводница, поинтересовалась, как спалось и чего рано поднялся. Вышел из соседнего купе мужчина с папиросой. Вместе покурили, поговорили о погоде, предстоящем урожае. Этот разговор у самых незнающих людей всегда интересным выходит. Потому что любого за душу берет. Проснулись и соседи его по купе, и совсем уж оживились все, когда понесли чай.

Григорий Иванович, как всегда, заказал два стакана. Достал варенье, отварное мясо, яйца. Нарезал хлеб и пригласил к столу соседей, молодых людей, едущих сдавать экзамены в институт. Те положили на стол сырки, печенье, яблоки. Завтракали дружно, не торопясь. Ребята рассказывали «героические» истории из студенческой жизни, а Григорий Иванович, ухмыляясь, слушал их бахвальство, но не осуждал. Пусть покрасуются друг перед дружкой, дело молодое.

Незаметно доехали до Москвы. До отхода его южного поезда было часов шесть, и, чтоб зря время не тратить, он спустился в метро и поехал на Красную площадь.

Там он долго стоял и смотрел на стертые миллионами подошв маленькие плитки, смотрел, будто чего-то силится разглядеть в них, будто искал на них след. Но не было следа, потому что время чаще всего оставляет следы в человеческом сердце, укрывая их спасительным туманом. Торжественное волнение памяти заколотилось сердечным стуком, и пошел он, пошел через всю площадь степенно, медлен-

но, не замечая встречного людского потока, омывающего его.

Постоял он у Вечного огня. Вспомнились ему ребята из их четвертой роты, с которыми он уходил в сорок первом на фронт. И не боль забытых ран, а уважительность памяти молодым годам и товарищам по ратному делу тут-гим комком сдавила горло...

Санаторий, где он стал жить, стоял на берегу Черного моря, которое на самом деле было зеленое-зеленое. Оно открывалось взгляду почти сразу. Никогда еще не видел Григорий Иванович так много воды, никогда не видел так много голых людей, лежащих, стоящих, прыгающих около него... Он лишь помянул выразительно шахтный комитет и пошел дальше, глядя на разлапистые пальмы и мужчин в коротких штанишках.

Но вот что его действительно удивило, так это павлины. Зверей и птиц всяких он нагладелся множество в передачах «В мире животных», но такое чудо ему и не снилось. Он вошел в парк, цветущий всякими всевозможными цветами. И маленькие розовые сплетали над скамейками благоухающую крышу, и большие белые, словно из воска, торжественно и надменно держали раскрытые чашечки встреч жгучему солнцу. Разноцветные рыбки плавали в фонтанном бассейне, выстраиваясь в ряды, рассыпаясь в стороны, устраивая драчки из-за крошек, которые швыряла им маленькая девочка. И в это время он услышал какой-то гортанный глуховатый крик. Григорий Иванович пошел в ту сторону, откуда донесся этот звук, и остановился. Дивная, настоящая райская птица, величаво выступая по густой зелени, неслась невообразимой красоты наряд. Над ее маленькой головкой светилась в лучах корона. Но вот она раскинула, словно напоказ, разноцветный блестящий, темно-фиолетовый с серебром драгоценных перьев кружевной хвост.

Он лег на изумруд зелени, сказочно переливаясь и искрясь. И тут не удержался от восторженного вздоха старый шахтер, и счастливо подумал, что пришлось ему увидеть такое природное чудо, от которого радостью наполнилась душа.

Спалось ему в эту ночь легко. Неясные, но добрые сны посещали Шевцова, и проснулся он беззаботно.

И началась непонятная, легкая и пустая от дел веселая жизнь, полная пустячных, но приятных забот отпускного человека.

Больше всего нравилось Григорию Ивановичу пиво из автоматов на берегу моря. Он не был заядлым пиволобом, но с самого утра здесь велись интересные разговоры: и о новом приезде к нам зарубежных премьеров и о футболе.

Безусловно, мнения высказывались авторитетные, порой разгоралась целая баталия. Слушая, Шевцов уважительно удивлялся тому, какие все образованные и грамотные, но сам только однажды рискнул ввязаться в разговор. Спор зашел о шахтовом газе, и вообще об условиях работы шахтеров. И хотя Григорий Иванович оказался на высоте положения, тем не менее потом он предпочитал все-таки слушать.

Однажды и совсем удивительное произошло около этих автоматов. Встретил тут Шевцов Николая Семикрылова, горного мастера с их шахты. Работали они на разных участках, и знакомство всего было, что «здравствуй» да «прощай», а обнялись как братья. Велика сила землячества! Семикрылов познакомил Григория Ивановича со своей женой, коричневой (они уже три недели, как отдыхали), светлоглазой, улыбчивой и доброй женщиной. Она Шевцову тоже обрадовалась, стала приглашать в гости. Семикрыловы снимали комнату в доме, стоявшем в густых зарослях дико-

го винограда и красноцветных, неизвестного названия высоких кустов. Застолье было веселое, разговорное. Вспоминали свое дальнее, родное. Потом Семикрыловы проводили его до самого гостиничного номера и договорились, что в следующие дни они ему покажут все достопримечательности. Сходят в самый интересный ресторан, который расположился на самой вершине высокой зеленой горы, съезжают на экскурсию по морю.

Проводив гостей, Шевцов вышел на балкон. Вскоре пришел его сосед по номеру, металлург из Череповца, молодой энергичный парень.

— Плохо ты загораешь, Григорий Иванович, — глядя на светлую грудь Шевцова, заметил сосед. Его же мускулистое крепкое тело под светом люстры блестело как лакированный ботинок. — Морское солнце — лечебное. Да и глядеться будешь привлекательней... Поехали с нами завтра, — предложил он. — Компания великолепная. Берем с собой мяч, поедешь? — И вдруг без всякого перехода сказал: — Что-то я проголодался, понимаешь? Ем, ем — и вот, — он виновато развел руками. А Григорий Иванович, усмехнувшись, заметил:

— Это ничего, это в себе силушка играет...

Проснулся Шевцов от того, что его что-то разбудило. Сон не сам отошел. Что-то нарушило его, поэтому и пробуждение было неприятное. Сосед крепко и спокойно спал, о чем свидетельствовало его ровное дыхание. Григорий Иванович встал, нашел на столе папиросы, спички и вышел на балкон. С моря прилетал знакомый теперь уже запах водорослей. Город спал в тишине, изредка нарушаемой шумом такси, пронесшимися по закрытому от взгляда темной стеной деревьев шоссе. Но нет, не машины разбудили его.

И вдруг он услышал. Снова — гортанный, ищущий ответа, тревожный

крик. Сразу и не сообразил, что это такое. Только понял, что от этого крика он и проснулся. Крик повторился. И хотя теперь Шевцов вспомнил, что он его слышал в парке, что это кричит павлин, все же неприятное ощущение не покидало его. И долго он еще не мог заснуть в ту ночь.

Утром пошел дождь. Был он теплый и долгий. Целый день Шевцов провел в санатории. Играл в домино, читал газеты. Дождь прекратился совсем уж к вечеру. И Григорий Иванович вышел к берегу моря. На этот раз серые громады волн неистово бились о берег, и голос моря был неприветливым и хмурым.

А следующий день начался с веселого писка за окном птиц, со светлого солнечного луча, заглянувшего спозаранку в открытую балконную дверь.

Пристрастился он было к игре на американских автоматах. В фойе цирка стояли такие железные ящики, в которых после того, как опустишь монету, начинали летать самолеты, бегать автомашины, плавать подводные лодки. Одни надо было посадить, на вторых преодолеть препятствия, третьи потопить. Занятно все это было, и время быстро проходило.

Около автоматов всегда была очередь. Как-то стоял Шевцов за лысым бородатым мужиком в коротких штанах. Азартно и с каким-то остервенением нажимал тот на ручку автомата, производя выстрелы по подводной лодке. И так у него это выходило серьезно, что стало Григорию Ивановичу почему-то не по себе.

Может быть, он представил себя на месте этого мужика, свои привыкшие к топоричу и лопатному черенку ладони, представил, как бросает двадцатники в эти ненасытные ящики и в нем что-то запротестовало. Сам не зная почему, Шевцов торопливо выбрался из прохладного фойе, под гладкие и жгучие лучи пальмового дня.

И опять шел Иван Григорьевич к морю, пил пиво. Но неинтересными вдруг стали здесь разговоры. То ли разъехались те самые знающие горячие спорщики, то ли уж все было переговорено. А ночью опять слышал крики павлинов. Но он уже не вставал. Лежал, не спал. И как бывает в такие часы, думы приходят из неожиданного далека, и, как уставший, сбившийся с дороги путник, мешаются и путаются, пока в путанице этой не высветит успокоительная звезда верного направления. То ли во сне, то ли в бессоннице увиделся тоскливой радостью его дом на Партизанской улице, теперь уже должно быть с перекрытой, без него перекрытой крышей. Увиделся ему и его листвянский кум, который на прошлый покров привез Шевцовым гуся.

Утром Григорий Иванович попробовал было рассказать своему веселому соседу про гуся, про самую Листвянку. Про то, что есть у него там персональный комбайн и что уж совсем скоро начнется в Сибири косовица... Но сосед, как всегда, куда-то торопился и, не дослушав, веселый и яркий, выбежал из номера. Шевцов после завтрака пошел на прием к главному врачу. Молодой, в белом халате и золотых очках человек, никак не мог понять сидящего перед ним пожилого мужчину и, справедливо защищая честь своего предприятия, все добивался от того услышать причину такой небывалой просьбы.

Григорий Иванович просил его отпустить домой. Нет, у него нет претензий к обслуживающему персоналу, и очень он доволен кухней. Он попытался сослаться на павлинов, но, не умея всего этого объяснить, заговорил о Листвянке. И молодому врачу странно было слышать, почему этот человек, которому впервые в жизни выпало отдыхать на берегу прекраснейшего моря, хочет уехать в какую-то Лист-

вянку, хотя его тут никто не обижал и ему очень нравится пиво из автоматов на берегу.

Наконец, доктор не выдержал и очень сердито поставил свою подпись на той бумаге, по которой выходило, что, он, Шевцов Григорий Иванович, имеет право катить на все четыре стороны.

Шевцов, видя расстроенное лицо главного врача, сам немного расстроился, — не в его характере было досаждать людям. Он снова заговорил о том, как всем был здесь доволен, но заторопился и, не попрощавшись, быстро вышел из кабинета.

Еще один день прошел у него в хлопотах о билете, и вот он уже сходит по трапу самолета в Кемеровском аэропорту, а в ушах еще глухо шумит море...

Еще через два часа он сидел в электричке, везущей его в родную сторону. День был будничным, и народу было немного. Устроился Григорий Иванович удобно, с интересом глядел в окно, за которым мелькали станционные постройки, махали зелеными крыльями деревья.

На разъезде он сходил один. Едва он спрыгнул со ступенек, как, гукнув, электропоезд покатил дальше.

Маленький домик в окружении хозяйственных построек, как и прежде, глядел на мир желтыми ставнями. Женщина с желтым флажком, увидя Шевцова—пассажиры тут редкость,—направилась было к нему, но Григорий Иванович уже шел по дорожке влево от домика. Там, в сизых зарослях полыни, дорожка рассыпалась на три стороны. Ему в Листвянку надо было шагать по средней тропинке.

Знакомые места. Два километра — и выйдет он к пруду.

Где-то, невидимый, звонко, долго, с удовольствием прокричал петух.

— Ишь ты! — сказал Шевцов и, вспомнив павлинов, рассмеялся.

СТИХИ ДЕТЯМ

Валентина Томилина

Помощница

В эту среду,
В эту среду
Мне исполнилось
Пять лет.
Про меня
Твердят соседи:
— Папин вылитый
Портрет.
Ну, а я желаю
Все же
Быть на мамочку
Похожей:
Так же гладить,
Шить, варить,
В ясли братика
Водить...
А пока расти
Я буду.
Ну-ка, вымою
посуду!

Про рукавичку

Нашей маленькой сестричке
Подарили рукавички
Шерстяные, с бахромой
И с узорчатой каймой.
Наша младшая сестричка
Надевала рукавички,
Выходила за порог
Посмотреть, какой снежок.
Тут заметила сестричка,
Как упала рукавичка,
И тотчас ее щенок
Под крылечко уволок.
Но реветь сестра не стала,
Помолчала и сказала:
— Ты ее не потеряй,
Поноси и мне отдай!

Охота на китов

Есть у Игоря и Вити
Замечательный «Строитель».
Из него построено
Судно китобойное.
Игорь — храбрый капитан!
Ловит пятого кита.
А у Вити — грозный вид,
Потому что Витя — кит.

Зоя Естамонова

СОТВОРЕНИЕ РЯБИНЫ

«МЫ, ЖИВОПИСЦЫ...»

Для меня Виктор Зевакин начинался с рябины, со своей «Рябинушки». Он выставил эту картину в 1961 году на областной выставке, открывшейся в новом, только что отстроенном кинотеатре «Космос». Ни одна картина выставки не возбуждала столько зрительских страстей, ни одна не переманивала к себе так усиленно внимание посетителей. Она дразнила своим вызывающим цветом и, кажется, даже нарушала законы природы — взрывалась, разбрасывая вокруг свои победоносные огненно-рыжие кисти, грозила поджечь крышу дома, над которой бушевала ее корона.

«Добрый вечер, товарищи телезрители, — открывала я репортаж. — Сейчас мы увидим работы кузбасских художников. Начинаем с разговора о живописи. К сожалению, вы не сможете на экране увидеть цвет...»

Всего лишь навсего — «не сможете увидеть цвет...» А если этот цвет — главное действующее лицо картины? Если посетители выставки, размахивая авторучками, уже идут на приступ книги отзывов — выразить свой протест против «открытого цвета?»

Мой репортаж с выставки спасла графика Ананьина, Берга, Гордеева, ее язык, четкий и доходчивый.

Судя по всему, линогравюра обещала быть в ближайшее время одним из самых боевых жанров. И, действительно, в начале шестидесятых ее листы властно заявляли о себе на

выставках, захлестывали живопись оперативностью в разработке современной темы, количеством серий. И, может быть, пытались тогда соперничать с графиками те, кто называл себя «монументалистами».

Загромыхали железом краски живописных работ. «Монументалисты» наделяли металлурга чугунной плотью. Им казалось, что они сделают комплимент химикам, если изобразят их похожими на космонавтов. Цвело на таких холстах пластмассовое небо, цветы шуршали фольгой. Художники изобретали какую-то мудреную «мужественную» палитру, «достойную героических будней», а многие изменили живописи ради модной линогравюры.

Линогравюра на выставках, линогравюра в журналах — снегопад линогравюр... Вот тогда-то зажегся тревожный огонек зевакинской рябины, а сам ее автор в одном из разговоров с коллегами запальчиво говорил кому-то, заикаясь от волнения: «Уходите. В графики. В монументалисты. К черту! Станковая живопись останется. Будет век живописи, вернетесь к нам, но мы, живописцы, обнесем себя забором с колючей проволокой и ток пропустим!»...

Приблизительно в то же время Виктор Зевакин говорил мне почти со слезами: «Ты знаешь, я видел на днях пять работ одного автора — одинаковые! И я понял: робот, робот! Как может художник быть таким равнодушным! Не плачет, не смеется, не шепчет, ни один уголок холста не сделан с любовью. Я пришел домой после этого, сел, гляжу в одну точку и вижу, вижу! — как он их пишет, а потом... по-

том поднимает руки вот так и ложится вниз лицом... Робот, искусства нет, холодный прострел...

И так же ясно, как он видел коллегу-робота, я представляла его самого стоящим у «Ряби-нушки» перед зрителями: они говорили ему, что нет в природе такой рябины, и они не позволяют художнику сочинять красный по собственным рецептам, а он одно твердил: «Поверьте в мой цвет!»

Самое трудное испытание художнику — это когда он и зритель говорят, не понимая друг друга, как инопланетяне. Об этом Тютчевское «Silentium»*

«Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь...»

«Мысль изреченная есть ложь», а значит, никогда не сумеет человек высказать себя до конца так, чтобы другой понял его до конца. Что же делать? Молчать! — говорит Тютчев. «Silentium». Любил это стихотворение Лев Толстой. Но разве он не пробивал беспощадным словом художника глухую стену «Silentium»? Разве не эта же упорная борьба с «Silentium» — творчество самого Тютчева?

ХУДОЖНИК И ЗРИТЕЛЬ

Зритель стоит у картины. Картина нравится. Он говорит: «Совсем как живое»... Я его понимаю, я тоже этого часто хочу — войти в картину, перешагнуть рамку. Но, предположим, — это возможно. Какой-то ученый, отчаянный гений, вдруг придумал способ войти в картину художника. И сейчас мы войдем в нее. «Стойте! Стойте!» — вбегает побледневший автор произведения. — Не входите, вы не сможете ТАМ сделать нескольких шагов, не проживете ТАМ и нескольких секунд... «Понятно», — улыбается тот зритель, который недавно писал возмущенные слова в книгу отзывов. — Вы боитесь, что мы увидим в вашей картине что-нибудь неприятное для глаз? Так не беспо-

койтесь, мы отправимся сейчас в картину Врубеля!» «Нет, нет, не делайте этого! — умоляет нас художник.

«Но почему?» — «Я не могу вам объяснить точно, но... воздух, написанный художником, — другой воздух, апельсины, написанные им, — другие апельсины, понимаете?»

Пожалуй, я не поняла бы этого, если б однажды, уже в зрелом возрасте, не открыла для себя одного знакомого с детства художника. Это был Суриков в Третьяковской галерее. Войдя в зал, где висели справа — «Утро стрелецкой казни», слева — «Меньшиков в Березове», прямо — «Боярыня Морозова», я почти физически почувствовала странный густой свет, который излучали эти картины. Это было похоже на пробуждение зимним утром, когда сквозь морозное стекло льется рассвет. Такой же плотный, синеватый воздух был в этом суриковском зале. И я вдруг увидела, что люди в окружающих меня картинах живут своей, особенной жизнью, дышат особенным воздухом. Были они живые, да, живые в красоте их лиц и фигур, движений, одежд, но их отделял от нас, зрителей, их укрощал, не позволял состояться контакту с нами, с нашим материальным миром этот мягкий и непреступный синеватый свет, живописный свет, колорит.

И вот однажды, спустя несколько лет, читала я в журнале «Творчество» размышления о живописи Р. Фалька и нашла слова, которыми он, живописец, точно передавал вот эту особенность живописи, делающую ее живой и недоступной одновременно. Фальк писал о Сезанне:

«Воля гения побеждала однако косность мертвого материала: его холсты — живая цветочная ткань, пластические события возникают из глубин пространства, как бы роящегося цветовыми атомами. Его произведения — не подобию жизни, а сама жизнь в прекрасных драгоценных зрительно-пластических формах...»

«Пластические события» — вот слово! Вот как можно назвать то, что происходит перед нами в рамках полотна, вот оружие живописца в его вечной борьбе с беспощадным Silentium.

Мы не сможем войти в «Испанию» Врубеля, но надо хотеть войти туда так же, как хо-

* Silentium (лат.) — безмолвие, молчание.

чет сам художник перешагнуть рамку полотна навстречу нам из своего пластического мира.

«ЧЕРНЫЙ БАЙКАЛ»

«Вечерами, когда отец домой возвращался, открывали мы окна, садились на пол, и он нам, детям, сказки рассказывал. Мать пекла у печки или кружево вязала. Мать моя из Питера, отец вятский. Отец был щеголь, эстет, на гармошке любил играть и рисовал коней.

Маленькие головки, большое тело, расписная упряжь, здоровенные дуги расписные... Рисовал и старший брат, и я стекла разрисовывал. У нас на Угловой в доме мастерская целая была. Коза наша всегда без хвоста ходила — на кисточку обрезал. Отец как на забаву смотрел, а мать: «Ничего, пусть, не хулиганит ведь...» А еще наш дом был бастионом. Подземные ходы копали, простыни крали на паруса, подсолнухам головы рубили... Я до 16 лет играл, кубики складывал. Я вообще человек туманный, у меня позднее развитие. К 20 годам был у меня пятый разряд слесаря, а рисовать учился лишь в студии у Петровского. В сорок шестом пришел в кемеровское товарищество «Художник». Там мы копии делали с Шишкина. Павел Афанасьевич Чернов сделает эталон, мы с него пишем. Делали и ширпотреб. С луной и с речкой. Один заказчик у нас эти «виды» на свет рассматривал: «чтобы без дыр!» Сам ничего я не мог. А рядом «крейсера» — Кирчанов, Чернов, Лобузов... Попрошусь на этюды с Шемаровым, он говорит: «Научись две краски смешивать, потом пойдешь со мной...» Бегал, писал этюды. Потом поехал в Ярославское училище... На первом курсе поставили натюрморт — стул и кусочек мела (задачу пропорцией), посмотрели: «нечего ему здесь делать», перевели на второй. Был несколько раз на грани отчисления: церкви увидел, обалдел, ходил писать их, занятия пропускал. Так и не доучился, уехал. Училище я закончил в Пензе. Там мне свободы больше давали, самостоятельности... На третьем курсе послали мою работу на выставку в Москву, сразу после училища приняли в кандидаты...»

В руках у меня каталог 1956 года с выставками дипломных работ выпускников Пензенского

художественного училища. Среди шести наиболее интересных названа зевакинская — «На флоте»: «...передает романтический пафос труда лесосплавщиков на фоне сурового динамического пейзажа... Четкость в построении пространственных планов, активной скульптурной лепки форма, темпераментное широкое письмо характеризуют живописную манеру В. Зевакина...»

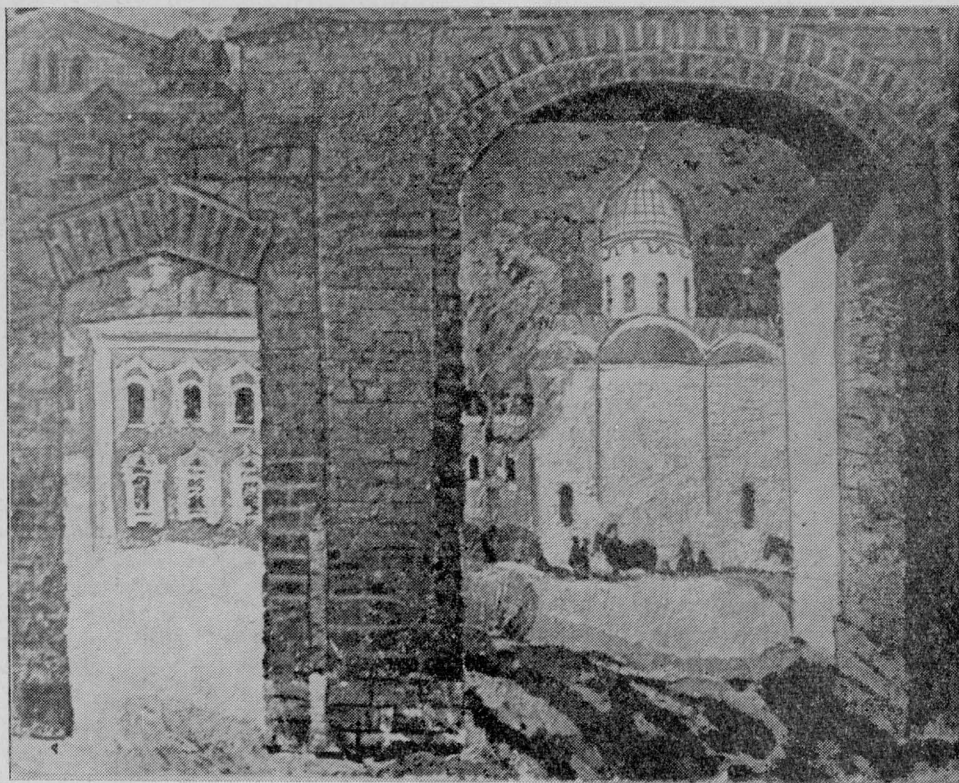
Когда Виктор Зевакин закончил училище, было ему тридцать. Убеждена, что другого пути, кроме пути в искусство, не могло быть у этого человека. Все в жизни, кроме живописи, для него второстепенно. Когда покушаются так или иначе на его драгоценную творческую свободу, он, отстаивая ее, жертвует чем угодно: здоровьем, семейным спокойствием, материальными благами. Есть у него какая-то упорная самозащита против чужого вмешательства в его единственную любовь. Я думаю, что это свойство он имеет благодаря тому, что начал овладевать профессией в зрелом возрасте, когда душа вырабатывает стойкий иммунитет ко всему, что ей не нужно: к педантизму преподавателей, к заученным академическим приемам. Иначе в искусстве нельзя — свалит с ног сладкая болезнь подражания любимым авторитетам, останешься без почерка, без лица.

И, может, поэтому так внимательны сейчас умные педагоги к самостоятельным художникам. Мне рассказывал очевидец: в 1975 году на семинаре народных мастеров в доме творчества «Горячий ключ» появился небывалый парень. Играючи работал, краски выдавливал на полотно прямо из тюбиков в одном ему известном порядке и поразительно точно передавал суть изображаемого в полнокровных сияющих тонах. Преподаватели и не пытались обучать его изобразительной грамоте.

Повезло, наверное, и Виктору Зевакину. Его вступление в профессиональный художнический мир в конце пятидесятых годов совпало с «мягким» климатом в истории нашей живописи. И уже первое из его смелых колористических полотен, «Черный Байкал», было встречено коллегами с дружеской теплотой. Как это было, я знаю понаслышке, но «Черный Байкал» не обойдешь — это начало жизни Зевакина в искусстве.

На творческую дачу, организованную иркутянами, приехал Виктор в 1959 году теоретически, как говорится, подкованный: начитался, наслушался о славном море, священной Байка-

когда я спал, кто-то из ребят взял мой этюд, побежал всем показывать. Посмотрели иркутяне, говорят: «Он что — смеется над нами? Черный Байкал... Сколько живем, такого мы



ЛАДОГА

ле. Однако встреча со знаменитым озером разочаровала.

«...Голубой, как на открытке. Месяц прожил, а он — голубой! Не могу писать...»

За день до отъезда, злой и полный жалости к себе, неудачнику, вечером в непогоду он убежал к озеру. Оно бушевало в темноте. «...Наклонился я лицо освежить водой, а волна как плеснет, всего окатила, чуть с ног не свалило меня. Поднял я голову, смотрю — нет голубого Байкала! Так вот ты како-ой... Мокрый, бегу к себе в комнату, хватаю кисть... Утром,

его не видели...» Оставили работать на даче еще месяц. И тогда я его написал...»

«КУИ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО...»

«Этюды к себе привязывают, закрепощают. Не хочу быть их рабом. Держать их надо в голове, забыл что-то, глянул — и опять их подалее...»

И в лучших работах Зевакина можно видеть погрешности в тоне, интересные его пейзажи часто жухнут и осыпаются, — и все по-

тому, что многие большие холсты написаны единым духом — по первому впечатлению, порой за один сеанс, за 2 или 3 часа. Мотив бывает однажды, он не повторяется, — в этом художник убежден. Он не раз рассказывал о потерянных из-за собственной нерасторопности мотивах.

— Вышел, смотрю, ничего нет. Мукá. Повернулся и обалдел... Витраж сиял передо мной. Каскад над Томью. Солнца нет, но солнце чувствовалось. Надо было соскоблить этюд и написать, а я... посмотрел на часы. Приду завтра в это же время, будут те же облака, та же Томь. Ходил полмесяца. Все было, но не было этого состояния...

Есть еще одна причина быстрой работы художника, главная — его живописный темперамент. Ведь даже тогда, когда нет перед глазами ускользающего мотива, когда художник стоит в мастерской перед холстом, и время позволяет ему не торопиться, он пишет все-таки быстро и не откладывает кисть, пока не выложит себя полностью. Теперь он уже боится растерять свое состояние, свой внутренний эмоциональный напев. Бесспорно, в этой манере письма есть замечательные преимущества: кисть запечатлевает вспышки чувства по всей свежести первоначального ощущения, а значит тем, кто увидит эту работу, передаст художник ток волнения, которое испытывает, делая живописное открытие.

Да, но, хватая под натиском эмоций первый попавшийся холст, а иногда картон с неподходящим грунтом, торопясь накладывать краски слой за слоем, художник нарушает известные ему правила технологии, а она ему мстит за это, обрекая интересную живописную находку на весьма недолговечное существование.

Есть и еще один риск: промахнувшись в чем-то, трудно исправить то, что написано одним дыханием.

Так и стоит у меня перед глазами первоначальный вариант картины «Сказ о Тобольске». Красный цвет заката обнимает деревянный город. Он, этот старинный сибирский город, встает в горы, как монумент, лежит тяжелым коричневым золотом у золотой с изумрудным отливом реки. «Живопись темновата», — сказа-

ли коллеги. Зевакин попробовал переписать — испортил картину.

На зональной выставке в Томске я стою у зевакинского нового полотна. Красиво северное синее серебро воды, динамическая композиция позволяет почувствовать непрерывную жизнь труженика-порта. Это я вижу второй вариант картины. Помню, что переписать работу Зевакина заставило все то же замечание о слишком темной и нерасчлененной живописи деревянных домов пирса. И вот переписаны эти дома, их силуэты стали более жесткими, художник расстается с теплым коричневым, избирает новую, холодную гамму. Правильно — ведь пишет он северный порт. Но вот эта правильность, эта подчеркнутая профессиональность (вы делали замечания о рисунке домов, посмотрите, я умею справляться с архитектурной) лишило работу влюбленности, того зевакинского неровного дыхания, с каким он пишет все лучшие пейзажи. Пропало, а оно было, ощущение вечного драматического содержания нашей жизни — столкновения спокойного величия природы со стремительными ритмами человеческих дел. В картине появилась несвойственная Зевакину рассудочность. Он доказывал всем, что он умеет рисовать дома. Да, он доказывал. Ведь я сама слышала такие, например, слова: «Зевакин запутывает картины в цвете, чтобы скрыть плохой рисунок». Вот он и пробует, разрушив эти темные слитки домов, показать их рисунок. Между тем, он вновь и вновь пишет «слитки», будто чувствует какую-то несомненную правду этого образа.

«ДЕРЕВЯННЫЙ СРУБ, ДЕРЕВЯННЫЙ ДРУГ...»

В современном пейзаже деревенский дом пишется чаще всего с привкусом грусти, как милый сердцу, но неизбежно отживающий тип жилья.

О чем-то ином говорят мне деревянные дома в картинах Зевакина. Вот «Ханты-Мансийск». Я смотрю на живой, не расчерченный строго геометрически порядок улиц. И кажется вдруг, что эти дома выросли, да, выросли, как дере-

вья или грибы, естественным путем. У зевакинских домов как будто есть корни, они не существуют отдельно от земли. Я вижу, что чаще всего художник подчеркивает их весомость и мощь. Когда он пишет бревна, он чувствует вложенную в них силу рук, он пишет окна — они смотрят глазами живущих в них людей. Люди неотделимы от них, дома беременны жизнью, из них складывается дыхание улиц, поселков и деревень.

И вот я вижу в каком-то эскизе мозаику домов, построенную на сближенных тонах, так что дома, спаянные в родственную группу, кажутся единой семьей. Так, может быть, эти литые конструкции домов — упорная попытка поставить монумент вечному теплу человеческого очага, и живописец отливает этот монумент из коричневого золота — из вечного, нетленного дерева.

Я видела альбом с тобольскими рисунками Зевакина. Рисунки эти подробны и тщательны. Фламастер, цветной или простой карандаш прощупывает в них конструктивную основу домов, исследует архитектуру фасада и резьбу, пристально всматривается в крыши и заборы, в пристройки, в узоры огородов и улиц. Сомневаться в профессиональности этих рисунков не было нужды, в них было больше — в них была свобода, которую дает ясное видение контуров будущих композиций, ради которых делались зарисовки. Иногда карандаш едва касался бумаги, словно боялся разрушить хрупкость замысла. Или рука отказывалась доверить карандашу то, что должна была сделать кисть? Да, эта рука рисовала уверенно, но доверяла кисти больше, чем карандашу.

Я заметила особенность рисунков Зевакина — склонность к текучим, плавным линиям, их нервную напряженность, их необыкновенную тягу к орнаменту.

«КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ, ХУДОЖНИКИ?»

И я отвечаю маленькой дочке. Или себе...

— Они похожи немножко на дирижеров, немножко на укротителей...

— Кого они укрощают?

— Краски!

— ?

— Видишь, какие беспокойные следы оставила кисть на полотне? Мазки еще шевелятся... Когда художник стоял перед чистым холстом, краски спокойно дремали в тубиках. Он будил их, выдавливая на палитру, смешивал красную с желтой, серую с синей... Они сопротивлялись, извивались цветными червячками, он пригвождал их к полотну, они просились на свободу и он их умирал. Чтобы написать яблоко или букет цветов, художник воюет с целым полчищем непокорных красок. Они пляшут, скользят, одна из них все-таки остается на воле. Художник просмотрел, а товарищи говорят: «Глянь, какая дикая...» Отойдя от картины подальше, художник, наконец, замечает мятежницу и говорит со вздохом: «Да, она стреляет...» Когда живописец побеждает краски, они начинают петь. Они откликаются на любой самый маленький взмах его кисти.

— А бывают послушные краски?

— Да, бывают, бывают...

Вовремя остановилась. Чуть не проговорила о том, как тяжела участь этих самых послушных красок. Не могу я толком объяснить дочке, почему недавно один художник изгнал из своей палитры слишком послушную, синюю.

Действительно, чем виновата синяя, если в последнее время Виктор Зевакин живет в непонятной тревоге? Натюрморт, который на зональной выставке в Красноярске побеждал цветоносной силой даже расположенную с ним по соседству звучную по цвету керамику, теперь уже не устраивает его. «Не хочу быть цветным петухом!»

Зевакин сообщает мне, что едет на академичку в Подмоскovie.

— Я поставил перед собой задачу: писать так, чтобы получился замок... — Он показывает мне сцепленные пальцы. — Чтoб ни одну краску нельзя было выбросить. Мы все спорим с Галковым. Он белое пишет белым. А белое можно писать не белым! Краски должны быть собраны, чтобы они светились...

И вскоре после возвращения Зевакина, на его персональной выставке, мы вдруг увидели двух живописцев. Один из них был прежний Зевакин с буйными, восторженными красками

сказочника, фантазера. Другой принес задумчивые, неброские маленькие этюды.

Доволен ими зритель, не принимавший когда-то открытый цвет «Рябинушки». Но нужно знать Зевакина, чтобы радоваться неожиданному повороту его живописи.

— Я специально заставил себя отойти от декоративного, от нарядности. Я ограничивал себя скупыми средствами, брал сдержанные гаммы... Но этот интим, это — не мое. Я люблю цвет!

ЧТОБ ЗРИТЕЛЬ ШАПКУ СНЯЛ...

Послушать жаргон живописцев, поверишь, что краски действительно живые создания. И «стреляют» они у них, и «свистят», и «языки высовывают». Бесконечное коварство кобальтов, крапलाков, стронциев, «ультрамеринов» не раз заставляло Зевакина уничтожать свои холсты или бросать их в середине работы. Не раз я слышала, говорит он о каком-то «запутанном» цвете. Что это такое? «А это как у Врубеля, — добавляет он, — не знаешь, какой краской брал...» И вспоминает интересный эпизод в Третьяковской галерее.

Ходил он как-то по залу возле «Демона» с вечным вопросом внутри: чем пишет Врубель. Какие-то молодые пижоны вошли в зал в хорошем настроении, решили пошутить. Один: «Напишешь так?» Другой: «Запросто». Услышала их разговор дремавшая в кресле интеллигентная старушка-смотрительница, вскочила, потрясая худенькими кулачками: «Молокосос! Как вы смеете! Ни один мастер не возьмется копировать Врубеля!»

— Что такое все-таки колорит?

Зевакин, усмехаясь, пожимает плечами: «Не знаю».

Мы сидим в мастерской. За окнами мансарды тревожно гудит ветер.

— Однажды Горюшкин-Сорокопудов увидел этюды поступающего. «Ты что — развел бочку «леса», бочку «неба», бочку «домов» и писал все одним?»

Потом этот парень говорит нам: «Откуда он узнал? Так и было. Я подумал: чем больше напишу работ, тем лучше...»

Виктор Сергеевич испытующе смотрит: поняла ли я что-нибудь? Нет, не понимаю хитрости живописного ключа, которую называют колоритом... Опять хитро щурится. Этого, мол, сами художники не знают... Просто шапку снимают перед колористами — перед Врубелем, Суриковым и молчат...

— Веласкес «Обед» написал. О-о, там нечего делать... У живописи должна быть вторая жизнь, первая жизнь — то, что сразу видишь, а вторая... Это когда держит она зрителя тайной. Чтоб шапку снял. Угодить зрителю можно. Нужно ли? — смеется: «...Один зритель художнику сказал: «Мне нравится работа, это место я сфотографировал — точно, как у вас!»

Упорно возвращая его к заманчивому разговору о загадках колорита, я напоминаю известные слова Делакруа: «Дайте мне грязи, и я напишу тело Венеры, если позволите окружить ее красками, которые я найду нужными».

Зевакин встрепенулся.

— Сижу я как-то на даче, на натуре. Мотив нашел. Честно так беру... Ага, туман, горы, тут, ближе, деревья, солнышко. Все есть... Думаю, дай гляну, что там маэстро, сосед мой, делает. Глянул. А-а, врет, врет ведь! Неправда. Нет такого. Не вижу. Горы черно-изумрудные, обводка синяя — бешеные краски!.. Стал уезжать, попросили его показать этюд. Вот цвет! Вот свет! Побежал, глянул на свой — плюнул. И показался я сам себе ма-аленьким человечком. Он знал, ЧЕМ окружить черные горы. И получился слиток, живопись...

Сколько б мы ни говорили, а все, как в сказке про попа и мочало, разговор сводится к тому же самому: он знал, ЧЕМ окружить, непонятно, ЧЕМ пишет Врубель.

Можно подумать, что краски у этих колдунов-колористов превращаются во что-то совсем иное. Фальк, говоря о «пластических событиях» картины, называет краски ее драгоценностями... Это же слово я слышу часто у Зевакина и у других живописцев, они производят его тихо-тихо, точно боятся вспугнуть или сглазить что-то очень сокровенное.

...За окном вдруг внезапно потемнело и — даже мурашки пошли по коже — ветер и снег. И вдруг — молния, раскат грома! Что? Ведь это осень, октябрь, в чем дело? Бывают же на

свете чудеса... Потом я иду по улице — солнце, воробьиный гвалт, снег на траве, отчаянная капель...

Действительно, я не права. Спрашивать о мастерстве у мастера бесполезно, он ничего не расскажет: не сумеет, он не знает, как он это делает. Даже хозяйка не объяснит вам толком, почему у нее сегодня пирог другого вкуса, чем вчера. То же тесто, та же начинка, а вкус — другой.

На зональной выставке мы стояли возле зевакинской работы с Василием Семенихиным, и он мне говорил: «Я с Виктором спорю, с тоном он часто нечестно поступает, но он выше многих, много-огих тех, кто тут висит, он — колорист...»

ИВАНОВКА

Спокойно пробуждается деревня. Туман поднимается с тучам. Насыщаясь им, они темнеют, медленно ползут, укутывая горизонт над тайгой. Печной дымок пригибается к земле. На ветках шиповника — капли, редкие острые дождинки. Погоды нет. Виктор Сергеевич надевает плащ с капюшоном, сапоги, идет в березовую рощу собирать грузди и опята.

Внизу под горой мужик колет дрова, женщина несет с огорода охалку картофельной ботвы. Там голубеет среди рыжего неубранный квадрат капусты, плавно летит сорока... Дорога ведет под гору и снова вверх. Дорога в желтых крапинах березовых листьев. Бежит, очерчивая холмы, дома, огороды, бежит-поет, вьется по лугу... Одна дорога серебряная, другая пестрая... Две ленты... Туда, где лезут из-за горизонта тучи, в золото кустов, в ажур берез и черемух, прорезанный темными пиками елей, ведет горбатый мостик, мостик над речкой, мостик в «осень». И там внизу мотив... Какой мотив! Кусты будто дымятся, и в дыму корчатся красные листья... Косо висят лохматые тучи. Ветер, пробуя пробиться сквозь заросли, запутался, гудит, а сверху, оторвавшись, летит, летит, чиркнул о плечо лист, другой... Света все прибавляется... Написать эту долину с деревней, Томь, как она уходит вдаль, изгибаясь, написать ветер, как он летит над этим привольем...

Он видит все, он садится у обрыва, дрожащие от нетерпения пальцы раскрывают этюдник... За спиной две маленькие девчонки.

— А я знаю, как сделать зеленую краску!

— И я тоже. Нужно синюю смешать с желтой...

Ивановские жители привыкли к бродяге с этюдником. Он пишет зачем-то все подряд. Дома, коровы, трактор, березу, крыльцо... Зачем-то просит у бабки старый лоскутный коврик, тащит в сарай самовар, прялку, икону и сидит, малюет часами. Дом художника не похож на другие. Этот дом, отмеченный кудрявой березой, украшен подковкой, а во дворе на деревянном столе ворохом — то подсолнухи, то калина и грибы для будущих натюрмортов. По утрам в окно дружески заглядывает зеленый дятел, тенькает возле малинника синица.

В первое лето и первую осень пребывания в Ивановке написано было много этюдов, все они светлые...

— Этот берег ходил писать только в полдевятого. Тогда золото проявлялось... Этот дом писал в три сеанса...

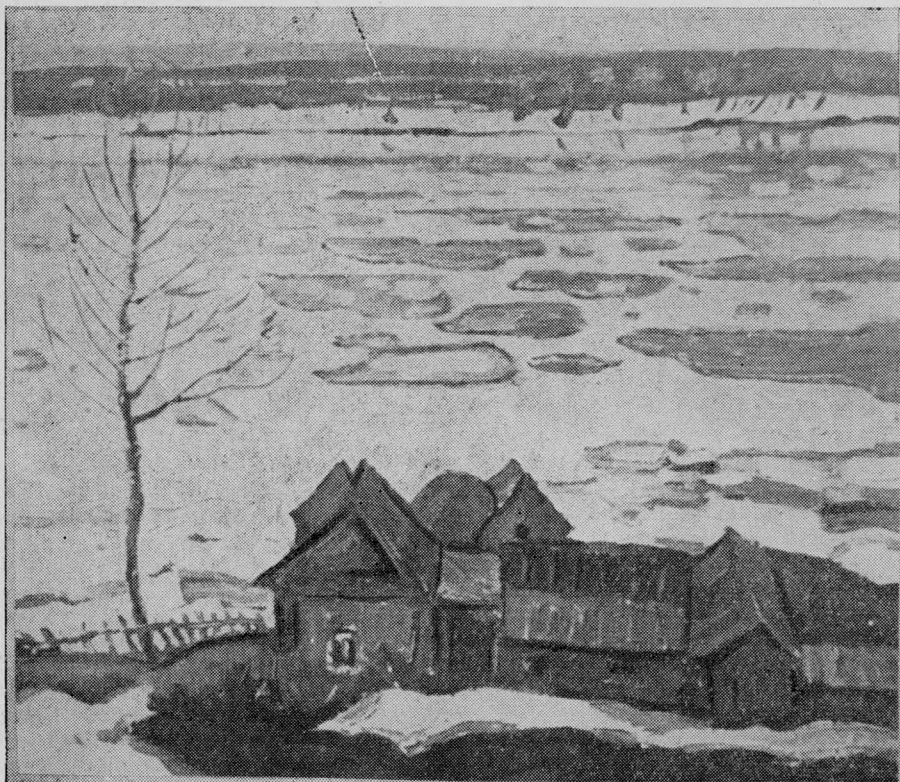
Что-то новое... Зевакин, который любит писать единым духом, стал усидчив, штудирует натуру, как прилежный ученик. Мне было непонятно это усердие, пока я не увидела натюрморт с ромашками. Букет ромашек на цыганском платке, на фоне старого коврика. Синий и холодный малиновый сплавлены удивительно точно и красиво, но ромашки-то, ромашки... Я вспоминаю: «Мы все спорим с Галковым. Он белое пишет белым...» А эти ромашки? Нет, они написаны не Зевакиным, не мог он положить на полотно сырой цвет, не мог перенести в живопись кусок природы, не пропускающий через себя. Но факт оставался фактом: ромашки «стреляли», ромашки «высовывали языки».

Это началось с ним в первый месяц знакомства с Ивановкой. В деревню он влюбился сразу. Лето стояло прекрасное. Он чувствовал себя почти Наполеоном. Он покорит эту природу, как когда-то «Черный Байкал». Впереди персональная юбилейная выставка, с которой его торопило правление... Он раскрыл этюдник, взял карандаш... За спиной его стояли люди, может быть, те две девочки... И вдруг он чувствует: карандаш не слушается. Рисует — то

ропится. Скорее бы взять кисть... Всегда, когда он начинает писать красками, у него легче дыхание. Но кисть вдруг оказалась бессильной, он не мог взять цвет, не чувствовал, не умел! Какие смешные были эти первые этюды — «цветной горох», они рассыпались и, ускользая,

Он приехал в Ивановку снова в марте. Еще лежал повсюду снег. Ловил дыхание первых весенних ветров. Прицеливался к домикам. Он увидел наконец-то пробуждение реки. И писал, писал, писал.

...Я смотрю на эти первые ивановские этю-



ЛЕДОХОД. ИВАНОВКА

улетала куда-то эта капризная птица — колорит...

Так продолжалось долго. Он рисовал, писал Ивановку, сделал множество этюдов, но хитрая деревушка не торопилась открыть ему свою душу. Он решил захватить ее врасплох, он вставал ночами и ходил «пасти луну». Он, не веря первому впечатлению, проверял этюды на многочисленных сеансах. Все было правильно, профессионально, только ускользала капризная птица — колорит...

ды, ишу в них сказку, прежнюю зевакинскую сумасшедшинку. И чувствую: да, оно существует, незримое насилие над душой художника выставочных дат, договоров, наших ожидающих глаз.

СКАЗ О СИБИРИ

Лучшие полотна Зевакина насквозь драматичны. И, стоя перед ивановскими этюдами, он говорил, будто поддерживая мою мысль:

«Не интимного я художник. Люблю большое небо, огромный простор, тучи, чтоб гудело...» Намекая на явное несоответствие вещей, я спросила: «Где же сходятся у вас, Виктор Сергеевич, концы с концами?» Он ответил не задумываясь: «На широкой золотой Томи может быть тишина, но какая! Не тихонько, понимаешь, а ТИХО... Для картины эмоций мало... Тут мы философы должны быть, мыслители. Недаром говорят: «КАРТИНЩИКИ»... Картина — это о-о-о!» Подняв руки, он чертит ими в воздухе, замирая перед чем-то невидимым.

О картине, единственной, золотой, мечтает каждый живописец, всю жизнь он ищет ее. И, если верить Тютчеву, так и не находит.

Может быть, эта постоянная грусть художника о ненайденном единственно точном слове и есть вечный двигатель творчества? Сквозь рисунки и этюды, сквозь написанные и только начатые полотна живописца пробивается его голос. Услышат ли? Поймут ли? Для этого нужно найти верную интонацию, не только искренние, но и дорогие для многих чувства и понятия. Природа? Да, пейзажем нас можно взять в плен. Встречаясь с природой, чувствуешь перед ней какую-то особенную вину, как перед матерью.

Как-то Зевакин сказал, что у него есть план поехать в Тобольск, в котором он уже побывал, еще раз: «Туда влечет природа и история».

Он сказал тихо, как всегда, когда коснулось заветного: «Хотел бы написать богатырскую Сибирь...»

И вот передо мной непросохший холст «Форт Ермака». Низкое, лентой, серое небо, срезана верхняя часть башен тобольской крепости. Высокая гряда красных гор, припорошенная снегом. Ясно читаются в их форме «червлены щиты»... Темная вода... Откуда этот черный бархат с сизым отливом? Подхожу поближе к холсту. Сергееч смеется: «Это черный такой бывает в соседстве с красным...» У крошки реки — чистые изумрудные льды, внизу, под горами, поселок и дома... «Да, да, ты права, я увидел эту россыпь домов как войско, а эти горы — как сам Ермак, как защитники...

Это было еще в 1971 году, когда Зевакин влюбился в Тобольск, как когда-то в Байкал,

в его горы с суровым ветром на вершинах, в рыжий Иртыш.

Мы помним, как закончилась история картины «Сказ о Тобольске», как переписывал и не смог переписать ее художник. Вместе с попыткой высветлить колорит полотна ушло так долго вынашиваемое им в себе состояние былинны сего дня. Именно это состояние, мне кажется, определяет главный творческий поиск Виктора Зевакина: он чувствует землю нашу в единстве ее прошлого с настоящим. Одно из доказательств — постоянная тяга его к старинной архитектуре. Ведь как ни старался он, отправившись на «академичку» держать палитру в монохромных гаммах, он привез из Средней России, где сама природа настраивает на мягкие пепельные колориты, полотна с открытым цветом, декоративные и звучные, которые могли быть вызваны только самыми сильными чувствами. Он с упоением писал русские соборы и старинные башни. «Подойду церковь писать и не могу вблизи спокойно смотреть — валится она на меня...» Да, можно, глядя на «Старую Ладу» или церкви Торжка, видеть «погрешности» в рисунке, я видела их сама, но в этих нервных, падающих влево или вправо линиях, ясно виден неостывший, нетерпеливый зевакинский порыв — схватить впечатление налету, удержать, пригвоздить. Вот тут-то и писал он свои большие полотна единым махом, в два-три часа.

Тут бросал он вызов «послушным» краскам. Добываясь в цвете ощущения времени, сплавлял золотой с сиреневым, «червлёный» с бронзовым, извлекая из красок янтарь, малахит и гранат, изобретая какую-то удивительную «древнюю» празелень и серебряную «седину». Его башни и деревянные домишки врастали в землю и горы монументами, он вплетал луковичи соборов в кружевные ветры осенних листопадов, старинный Торжок с его домами, церквями, улицами и деревьями он превращал в дорожной орнамент. В этих полотнах фантазия бушевала. Запрокинув голову, писал он и купола. Плыли облака... А казалось, уплывает в космические глубины неба силуэт церкви, похожий отдаленно на ракету...

Увидев на выставке эти полотна, я думала: если отправиться однажды ТУДА и посмотреть

на землю с Марса, она будет мерцать таинственно, как Сириус или Вега. Но чтобы знать, что земля — звезда, совсем необязательно лететь куда-то далеко, надо чувствовать это здесь.

И вот Ивановка... Ивановцы, разумеется, не могут принадлежать к Иванам, не помнящим родства. У каждого в доме найдется память о предках. Тут и выдавший виды самовар, и прялка, и икона...

— Иконы нынче в моде, вот он и малюет икону.

— А чо он ее в стайку-то повесил? В стайке темно, чо он там видит? Лампу керосиновую зажег, окно залепил какой-то синей бумагой, дверь закрыл и дырку прорезал, сам в эту дырку смотрит. Посмотрит — помалует, опять посмотрит... Сама видела, неделю возле стайки сидел. Кого он там караулил?

Я увидела наконец-то эту написанную в Ивановке первую «сказку»...

Синее окно в золотом сумраке. Икона, подсвеченная лампой, старинная люлька, прялка... Колесо прялки как раз в центре этого фантастического интерьера, и кажется мне это колесо штурвалом машины времени... Предметы сплавлены теплыми сумерками, я чувствую плоть воздуха... Зевакин говорит: «Писал мастихином, плотно, корпусно, потом прорабатывал, тут на сиену жженую кобальт положил, чтоб просвечивало...»

Молчите, Виктор Сергеевич, не надо мне этой кухни. Не хочу, не разрушайте сказку. Пусть я не буду знать, как ищут и находят колорит, эту хитрую птицу, которая влетела, кажется, в прорезанное в двери ивановского сарая смешное окошечко. «Кого он там караулил?..»

СОТВОРЕНИЕ РЯБИНЫ

— Завтра не приходи. Приходи послезавтра. А то меня выбьешь из колен, а я хочу наброситься на холст и р-разорвать его в клочки!!»

«Рябинушка», вызвавшая много лет назад на выставке своеобразный зрительский инте-

рес, не оставляла в покое Виктора Зевакина. Каждый год он писал рябиновые кисти. То просвечивают они сквозь ажур березы («перо жар-птицы!»), то лежат в натюрморте рядом с капустой, то пустую, обклеванную птицами кисть рябины пишет он так пронзительно, что кажется, лепит на нее голубые ягоды сгущенного воздуха. Когда он рисует в Мариинске деревянную резьбу, он видит в каком-то орнаменте «обобщенную кисть рябины». Было еще одно большое «рябиновое полотно»: рябина на земле, рябина на завалинке, на коленях девушки и седого старика, ее кисти висят над головой, ветки едва не прорастают сквозь бревенчатые стены дома и, кажется, с ними тянется к людям сама ликующая, животворная стихия природы.

На томской зональной выставке 1975 года висела новая «Рябинушка», висела в лучшей части экспозиции, прекрасно освещенная. Съехавшиеся из разных городов Сибири художники, разбирая по косточкам все новое, что появилось в закромах живописи за последние годы, отмечали, что в этой зевакинской работе много «разного красного».

Я смотрела на залитое красным полотно с жутковатым ощущением, в котором нужно было разобраться. Я опять и опять возвращалась к той рябине... Она была, без сомнения, очень красива — торжествующий, обжигающий свет излучали ее краски. Композиция — проще не придумаешь: слева — угол дома, окно и карниз обшиты деревянной резьбой, голубоватая в темных веснушках березовая поленица, две трети остального пространства сверху до низу занимали рябиновые деревья, увешанные спелыми гроздьями. Я смотрела на эти гроздья и задавала себе вопрос: что такое рябина?

В самом деле, что такое этот красный огонь осени, который мы берем в руки как прохладную шевелящуюся массу? Как странно связан с осенней грустью увядания терпкий, горчащий вкус ягод... Как дерзко горят эти ягоды в опустевшем лесу, споря с безжизненной красотой морозных кристаллов... Если бы мы прилетели с другой планеты и увидели рябину впервые, мы бы спросили, может быть, глядя с суевренным чувством на ее кровавый цвет: ОТКУДА ОНА?

И вот на этот вопрос мне, кажется, отвечала картина.

...Рябина рождается из красного заката. Закат сгущается в багряное облако, это облако подобно дождевому, только оно набухает желтым, оранжевым, багряным, пока не разразится гроза. Вспышка. Капли, тяжелые, киноварные... Взрыв! В оранжево-желтом клубится горячий огонь, золотое просвечивает красным... Это светит, льется в неведомые сосуды материнская кровь природы, в ней зарево солнца, жар вулканов, космические огни, человеческая сила... Грозная, торжественная сила красного цвета, сила неуничтожимой природы, начало начал...

Сначала грозди рябины почти бесформенны, потом обретают объем и, наконец, выплывает четкая структура. В теплом желто-зеленом дыме дерева-облака — набухающие, похожие на женскую грудь, гроздья рябины. В мягкую, еще неостывшую, трепещущую рябиновую плоть врезается геометрический угол дома. Рядом с этим «рукотворным» созданием с его острыми углами и линиями, — это таинственное по сути своей сотворение — рябина.

Я знаю, если попрошу комментарий у Зевакина, он скажет, что пытался «разобраться» в формах и ажурах. Вы пытались, Виктор Сергеевич, сотворить из заката рябину. Вот здесь в правом углу вы откровенно врезали в живую объемную стихийную плоть, красного плоский рисунок — орнамент кисти, он и есть ваш ав-

тограф художника-творца! А прочесть его можно примерно так: «Это моя рябина. Она похожа на закат? Может быть. Кто разберется в этом большом родстве нашей природы? Кто знает, отчего кисть рябины похожа на женскую грудь, а кедровая шишка — подобие кедра? Ох, уж эти маленькие и большие переключки природы... Я не могу их постичь, я смертный, я пишу не природу, — я пишу самого себя...»

Мы стоим по обе стороны картинной рамки — художник и зрители. Не может живописец перешагнуть к нам из своего мира. Он хочет сделать это, потому-то он пишет природу — она близка нам всем, потому вкладывает в природу свои чувства — может быть, таким способом можно победить упрямый «Silentium» — понять друг друга до конца? Это очень трудно, мучительно, ведь для этого нужно сделать из красок не больше не меньше — единство летучего момента с вечностью. Многим ли художникам это удавалось? «Душа требует какого-то подвига...» — сказал однажды Зевакин. Но так и бывает. Врубель, который прикоснулся к тайне колорита и сделал непостижимые цветовые открытия, заплатил за них зрением.

Мы, стоящие по эту сторону полотна, в свою очередь, постоянно страшимся перешагнуть рамку, войти в мир «пластических событий», где растет ольха с певучими орнаментами веток, где на глазах рождаются из заката рябины, где бушуют цветные ветры колоритов.

М. Сорокин

ЛЕГЕНДА О БЕЛОВОДЬЕ

Летом 1790 года в Колывано-Воскресенском горном округе, неподалеку от Змеиногорска, попал в засаду и был схвачен солдатами заводского батальона беглый горнорабочий Федор Сизиков. Как оказался Сизиков здесь, под Змеиногорском, в самом сердце горного округа, было непонятно. Ведь он много лет как ушел «в камень», затерялся в глухих ущельях Горного Алтая.

Семь лет о Сизикове не было никаких вестей. Последний раз его видел около Змеиногорска шахтмейстер Коновалов. Шахтмейстер пустился за Сизиковым в погоню, стрелял в него, долго преследовал по тайге, казалось, уже настиг... Но беглец исчез, словно в воду канул. И вот на тебе — вынырнул. Да и где!

О том, как его схватили, народ судачил по-разному. Больше говорили, что сдался сам, ибо был хорошо вооружен, богато одет, а добрый конь мог легко унести от любой погони.

Судьба Федора Сизикова мало чем отличалась от сотен других подобных ему алтайских горнорабочих. В службу на заводы он был взят по рекрутскому набору из крестьян Белоярской слободы в 1770 году. Всего пять лет каторжного заводского труда смог выдержать Сизиков. В 1775 году, когда за Уралом бушевало пламя Крестьянской войны под руководством Емельяна Ивановича Пугачева, а на Змеиногорский рудник только начинали прибывать ссыльные пугачевцы, Сизиков совершил свой первый побег. Был пойман, наказан плетью, но в 1779 году бежал вновь. И вновь неудача, и опять плети. В 1782 году Сизиков совершает свой третий побег. На этот раз его приговаривают к наказанию кнутом и к ссылке на каторгу в нерчинские рудники. Лишь счастливая случайность (амнистия) спасла его от жестокого наказания.

Но снова манили в путь рассказы мастеров о вольном крае, где якобы живут простые русские люди, живут свободно, как вольные казаки, сами решают свою судьбу без надзи-

рателей и уставщиков. Мечта звала, не давала покоя. И Сизиков поклялся — как только пробудится от зимней спячки сибирская тайга, он убежит с Колывано-Воскресенских заводов обязательно.

Свой четвертый побег Федор Сизиков совершил в 1783 году. С ним уходит его товарищ по заводской каторге Василий Дубский. К побегу готовились основательно. Беглецы прихватили с собой одежду, рыболовные снасти, топоры, огниво, хлеб, сухари, не забыли взять медный котел. Дорогой, по пути от Барнаула к Змеиногорску, «промыслили» лошадей, седла, переметные суммы, ружья, пули и порох.

Путь Сизикова и Дубского лежал почти через весь округ — в Горный Алтай. Около Змеиногорска, где беглецы остановились передохнуть, на их стан случайно набрел горнорабочий Михаил Аллачев. Завязалась беседа, во время которой Аллачев узнал, что Сизиков и Дубский держат путь в Горный Алтай. Горнорабочий бросился беглецам в ноги, стал умолять их взять его с собой. Факт сам по себе весьма любопытный, ярко свидетельствующий об умонастроении мастеровых, об их неистребимом желании сбросить с себя бремя каторжных горных работ. Сизиков и Дубский согласились подождать несколько дней, необходимых на сборы в опасный и дальний путь, продемонстрировав тем самым удивительный пример солидарности еще только рождающегося пролетариата.

Условившись о месте встречи, Аллачев уехал, а два дня спустя к Сизикову и Дубскому присоединились Василий Зайков, Степан Макаров, Михаил Плотников и Михаил Аллачев.

Шестеро не один. Легче отбиться от погони, проще добыть пищу, сподручнее ставить в лесу избушку. Так и держались беглецы все вместе, пока не добрались в Горный Алтай. О их дальнейшей судьбе, о жизни вчерашних горнорабочих на воле мы узнаем из показаний Федора Сизикова.

Протокол допроса Федора Сизикова — любопытный исторический источник. Горнозаводские власти впервые получили обширную информацию из первых рук о количестве беглецов в Горном Алтае, о их социальном составе, степени хозяйственного освоения этого края, его природных ресурсах, занятиях его жителей, экономических связях с соседями, общественном устройстве поселенцев, их быте и нравах.

Следствие вели капитан С. Смирнов, прапорщик Н. Колобовой, сержант Л. Старков и представители канцелярии горного начальства горные офицеры Ф. Риддер и Ст. Уров. Дело велось не спеша, все показания Сизикова тщательно протоколировались.

В ходе следствия выяснилось, что к 1790 году в Горном Алтае, по рекам Бухтарме, Белой, Катунь и другим выходцами из Колывано-Воскресенского округа (мастеровыми, приписными крестьянами, солдатами и беглыми ссылноторжными) было основано более десятка поселков. В каждом было от одной до шести изб. «Под горой Листвягой, у самого ключа, впадающего в реку Белую, — показал Сизиков, — одна изба. На ключе, у впадения в речку Середчиху, приток Езовой — пять изб. На реке Бобровке — одна изба; на ключе, у впадения его в речку Проездную, приток Бухтармы, — две избы. У речки Езовой, притока Бухтармы, — шесть изб. По речке Середчихе — две избы. По речке Тихой, притоку Катунь, — три избы. По речке Белой — четыре избы. Вниз по реке Белой — одна изба, вверх по реке Белой — шесть изб; по реке Белой — две избы. По речке Бириле, притоку Бухтармы, — четыре избы». Кроме того, Сизиков рассказал, что «сверх вышеописанных беглых людей от их селений в верстах во 100 или далее... есть живущие на речке Тургусун... живут в таких же ущелинах в немалом количестве, только я в тех селениях не бывал».

Жить по своей воле, не платить налогов, не выполнять феодальных повинностей, не знать над собой власти, иметь в достатке землю, лес, воду и другие дары природы — этот жизненный идеал русского крестьянина начинал осуществляться беглецами в Горном Алтае. Так на практике обростала плоть, материализовалась старинная крестьянская легенда о Беловодье.

История русского крестьянства наполнена героической борьбой за свободу, за вольное житье без помещиков и царских властей. И одна из героических страниц этой истории — поиски легендарного Беловодья! Сотни лет из поколения в поколение крестьяне передавали легенду о счастливом, вольном крае, крае без господ, всем изобильном и угожем для жизни.

В начальный период формирования крепо-

стного права в России народный идеал — сказочное Беловодье — находилось в непосредственной близости от постепенно теряющих свободу крестьянских общин — в лесах русского Севера, в степях Дона, Волги и Урала. Но по мере того, как складывалось крепостничество и оформлялся абсолютизм в России, с его развитой системой государственного надзора — все дальше и дальше в Сибирь, в глухие дебри салаирской и кузнецкой тайги, в ущелья Горного Алтая, в долины Саян переносила народная фантазия легендарное Беловодье.

Мечта о свободной и счастливой жизни была неистребимой. Во второй половине XIX в., когда неизвестных царским властям мест в России почти не осталось, народная фантазия перенесла Беловодье на острова Ледовитого океана, за пределы России, за горные гребты и пустыни. Русское крестьянство с удивительной настойчивостью продолжало поиски народного Эльдорадо.

Беловодье — не только поэтический образ. Это вместе с тем и реальность, реальность постоянно меняющаяся, диалектичная. Историзм самой действительности отражался и на народном представлении о Беловодье.

Долгое время краем, куда народная фантазия направила свои поиски Беловодья, был Алтай, да и вообще весь обширный район южной части Западной Сибири. Нередко у беглецов, задержанных царскими чиновниками на территории Томской губернии, находили такое описание пути в Беловодье... Чтобы добраться туда, нужно идти «...на Екатеринбург, на Томск, на Барнаул, вверх по реке Катунь на Красный Яр, деревню Аку, тут часовня и деревня Устьба. В Устьбе спросить странноприимца Петра Кириллова, зайти на фатеру. Тут еще множество фатер. Снеговые горы: оные горы на триста верст...»

Это направление народного поиска Беловодья в районы Горного Алтая, Салаира, Шории, Кузнецкого Алатау сложилось не случайно. В XIX веке уже действовала почти вековая традиция, которая опиралась на опыт народной борьбы. Здесь, на территории Томского и Кузнецкого уездов, в первой половине XVIII века от преследования царского правительства скрывались десятки тысяч раскольников. Когда же и сюда пришло крепостничество с его системой приписки крестьян к заводам, то этот район еще долго продолжал оставаться приютом для тех, кто спасался от преследования властей.

Что заставляло мастерового, презрев всякую опасность и страх, бежать в глухие места Сибири? Во-первых, беглец избавлялся от непосильного каторжного труда на заводе или руднике, от тягостных феодальных повинностей, бдительного надзора начальства, мелочной

опеки земских властей, заводского надсмотрщика, от докучливого попа. Во-вторых, при благоприятном стечении обстоятельств каждый из беглецов довольно быстро обзаводился домом, хозяйством, семьей. Психология бывшего горнорабочего, беглого солдата или каторжанина в сущности оставалась психологией мелкого собственника. Тяга к созданию собственного хозяйства была очень велика. К этому побуждал весь строй жизни в местах сосредоточения беглецов, которые мы, следуя за народной фантазией, будем называть «беловодьем».

Как жили беглецы в беловодье, чем они занимались? Ответ на эти вопросы мы находим в показаниях Сизикова комиссии военного суда. Материалы допроса Сизикова содержат подробную характеристику основных видов хозяйственной деятельности жителей беловодья.

Важнейшим занятием поселенцев в Горном Алтае была охота на соболей, выдр, бобров, белок, маралов, козлов, лосей, медведей. Только в первую зиму после прихода в Горный Алтай Федор Сизиков «промислял» 20 соболей и 60 белок. Пушнина выгодно сбывалась купцам, приезжавшим сюда из Средней Азии.

Серьезным подспорьем в хозяйстве беглецов в «камень» была рыбная ловля. Рыба хорошо ловилась во всех реках Горного Алтая. В 1786 году группа из восьми человек (среди них был и Сизиков) отправилась на рыбный промысел. Лов был настолько успешным, что, когда наступило время везти домой добычу, поднять ее на выюках всадники оказались не в состоянии. Пришлось звать себе на помощь почти все население горных поселков.

Земледелие и скотоводство были подсобными отраслями хозяйства у «каменщиков». Однако почти каждый около своего дома имел обработанный участок земли под огород. В поле сеяли рожь, пшеницу, ячмень, лен, коноплю. Рядом с жильем находились построенные на столбах «сайвы», специальные склады, где хранили доставленные с полей снопы.

В хозяйстве у поселенцев были лошади и коровы. Часть скота выменивали на пушнину у соседей — кочевников. Почти в каждом поселке на ключах и небольших речках были сооружены небольшие мельницы, называемые «мутовками». Кроме того, «для исправления разных инструментов для хлебопашества, звериной ловли и домашних надобностей...» на несколько поселков имела кузница.

За солью жителям Горного Алтая приходилось ездить на озера в пределы заводского округа. Беглецы на лошадях без особого труда переходили слабо охраняемую границу и привозили с собой во выюках по несколько пудов соли каждый.

В поселки к «беловодцам» часто приезжали купцы из Ташкента, Бухары, Самарканда и других городов Средней Азии. Они привозили с собой ткани (тик, кеж, пестрядь, александрйку), обувь, головные уборы, войлоки, железо, свинец, порох, ружья и другие товары. С большой для себя выгодой все это выменивалось на пушнину или обработанные кожи маралов. Сизиков на допросах показал, что «...все оные народы ездят безо всякой опасности, да и оне принимают ласково, в рассуждении, видя привозимые для них вещи...»

Протоколы следствия содержат интересные сведения об общественном устройстве «каменщиков». Их маленькие поселки, разбросанные по глухим и укрывным местам Горного Алтая, являли собой своеобразную федерацию крестьянских общин, своего рода испытательные полигоны для реализации представлений о желаемом для народа общественном устройстве. Здесь жизнь устраивала проверку на прочность крестьянскому идеалу мелкобуржуазной республики.

Все важные вопросы, касающиеся жителей «каменя», решались на общих сходах представителей всех селений. Особым уважением пользовалось мнение самых опытных, умудренных жизнью старейшин. Большой интерес представляет порядок ведения дел, связанный с разбором преступлений. Как показал Сизиков, в случае, если среди беглецов кто-либо нарушал обычаи и традиции «каменщиков», «из нескольких деревень созванные исцом живущие соберутся к преступнику в его деревню и в его дом, разобрав и соразмерно с преступлением положат наказание. Например, если изобидит воровством из разных домашних припасов или звериного промысла, то наказание чинят батажем, палками и плетями...»

Сизиков приводит интересный пример решения вопроса о наказании преступника. Среди беглецов в Горном Алтае жил бывший каторжник Аммос Вершинин, который своим поведением вызвал недовольство товарищей по обществу. «За многие у живущих в тех селениях воровства» общим собранием жителей Вершинин был приговорен к такому необычному наказанию. Общество посадило преступника на юркий, неустойчивый плот, ноги его наглухо закрепили в специально выдолбленных в бревнах дырах, вручили ему в руки весло, снабдили небольшим количеством съестных припасов и пустили по течению бурной горной реки. Участники суда при этом рассуждали: «...если может куда благополучно выплыть, то и счастлив, а если погибнет, тому достоин...»

Особым достоинством общественного устройства у «каменщиков» было народоправство. Сизиков особенно выделил этот момент, подчеркнув, «...что касается до управления оных

во всем селении никаких властителей над собой не имеют...»

«Республика мелких собственников», расположенная в непосредственной близости от государственной границы, не могла выстоять в борьбе с сильным феодально-крепостническим государством. Чем дальше проникали в Горный Алтай поисковые партии и воинские линейные команды, тем тревожнее становилось на душе у русских поселенцев. Неравенство сил, бессилие мелкого собственника перед лицом огромной государственной машины отразилось на мироощущении беглецов в Горном Алтае, посеяло в их душах страх перед будущим.

Жители «камня» чувствовали всю безысходность своего положения. Все чаще и чаще на их территории появлялись поисковые партии, которые вели разведку руд в Горном Алтае. Среди беловодцев созревает план перехода их в подданство России на правах ясаших инородцев.

Федор Сизиков на допросе показал: «...назад же тому другой год живущие в тех селениях беглые люди при собраниях намеревались, от себя выбрав, послать одного человека, который бы, пробравшись тихим образом в Барнаулу, и явился к начальнику заводов за испрашиванием о преступлении их прощения и чтоб не выводя из тамошних мест положить в надлежащий платеж (подати, но напоследок старики, сказав, хотя де нас простят, но выведут из здешних мест и определят к прежней должности, почему и остались по-прежнему».

Не исключено, что на Сизикова, человека бывалого и опытного, хорошо знающего путь из Горного Алтая в Барнаулу, и выпала нелегкая миссия вести переговоры с канцелярией Колывано-Воскресенского начальства. Становится понятным, почему Сизиков, добротный экипированный посол жителей Горного Алтая,

не оказал никакого сопротивления при встрече с воинской командой, почему он был так откровенен с представителями властей.

Ход дальнейших событий подтверждает наше предположение. В 1792 году по предложению командующего сибирскими защитными линиями генерала Штрэндмана Екатерина Вторая подписала указ, по которому беглецам в Горный Алтай было «даровано прощение». Правительство было вынуждено пойти на уступки. Оно не решилось переселить «каменщиков» на прежние места жительства, не вернуло их в заводские работы. Беглецы были превращены в русских «инородцев». Борьба за свободу оказалась не напрасной. Тяжелые работы на Колывано-Воскресенских заводах для «каменщиков» были заменены сначала ясаком, затем в 1796 году денежной податью в 3 рубля 50 копеек, а с 1824 года «каменщики» были переведены в разряд «оседлых» инородцев с оброком по 8 рублей с души.

Беловодье на Бухтарме — один из частных примеров материализации социально-политических идеалов крестьянства Западной Сибири. Подобные попытки предпринимались во многих других местах Сибири — в дебрях кузнецкой, марининской и томской тайги, в горных долинах Салаира и Горной Шории, в Саянах и Тянь-Шане, в верховьях Енисея, Томи и других труднодоступных местах Сибири.

Приведенные нами документы убеждают в том, что крестьянство Западной Сибири, как и русское крестьянство в целом, не раз пыталось осуществить на практике свои общественно-политические утопии. мелкобуржуазные иллюзии крестьянина-собственника разбивались о мощь абсолютистской феодальной монархии. Социальный опыт постепенно убеждал крестьянина, что не на путях ухода от борьбы, а только в самой борьбе он сможет завоевать свободу, что в этой нелегкой борьбе ему нужен союзник и руководитель,

ПРОДОЛЖЕНИЕ БОРЬБЫ

Из прошлого периодической печати
в Сибири

В течение многих десятилетий сибирская ссылка была важнейшим оружием царизма в его борьбе с освободительным движением России. Особенное значение ссылка в Сибирь приобретает в годы второй революционной ситуации, в период массовых репрессий против передовой общественной мысли страны. Сотни революционных борцов высылаются в это время в Сибирь на долгие годы, а некоторые и навсегда, исчезая в ее бесконечных просторах.

«Там, в краю далеком,
Гибнет много сил,
Есть там много, много
Дорогих могил»,—

с горьким сожалением о друзьях и товарищах по борьбе писал в эти годы революционер-демократ С. С. Синегуб.

Но, несмотря на все усилия, правительству далеко не всегда удавалось сломить своих политических противников, их веру в будущее и волю к борьбе. Заброшенные в Сибирь, многие из них стремились и здесь в условиях ссылки продолжать пропаганду своих идей и борьбу за их осуществление.

Эта сторона жизни ссыльных была очень разносторонней, включая в себя как нелегальные, так и легальные формы борьбы с существующим строем. К числу последних относилось и участие ссыльных в сибирской прессе. Прекрасно понимая роль печати в общественной борьбе, некоторые из них сумели занять видное положение в редакциях местных газет, группируя вокруг себя корреспондентов и сотрудников из числа единомышленников и друзей. Под их влиянием страницы сибирской печати превращались не только в трибуну борьбы с произволом и угнетением, но подчас становились и местом революционно-демократической пропаганды, принимавшей в условиях подцензурной печати различные завуалированные формы.

К сожалению, эта деятельность ссыльных до сих пор еще слабо изучена советской историографией, хотя за последние годы у нас появилась ряд содержательных работ В. М. Андреева, Л. П. Роцевской, Л. А. Ушаковой, посвящен-

ных другим аспектам истории политической ссылки Сибири 70-х — начала 90-х годов XIX века. Не стала предметом более или менее подробного рассмотрения публицистическая деятельность ссыльных и в третьем томе 5-томной «Истории Сибири».

Основанное в 1882 г. одним из лидеров сибирского областничества Н. М. Ядринцевым «Восточное обозрение» вплоть до 1888 г. издавалось в Петербурге. Это была большая еженедельная газета с программой, изложенной Ядринцевым в его известной книге «Сибирь как колония» (С.-Петербург, 1882). Несомненно, что для Сибири 80-х годов эта программа сохраняла определенную прогрессивность. Но в то же время нельзя не отметить и ее провинциальную ограниченность кругом чисто сибирских вопросов, в котором все более и более замыкались областники, их явную эволюцию в сторону либерализма.

Ядринцев сумел привлечь к участию в газете В. В. Радлова, Д. Н. Анучина, В. И. Семевского, Н. И. Наумова, Г. Н. Потанина и некоторых других видных ученых и общественных деятелей. Их имена несомненно способствовали росту известности «Восточного обозрения».

Но даже в этот первый, петербургский период существования газеты ее редакция не могла обойтись без политических ссыльных, которые сыграли заметную роль в становлении нового издания.

Участие ссыльных было и важнейшим условием развития отдела корреспонденций газеты, в котором особенно ярко проявлялась ее живая связь с Сибирью. Для «Восточного обозрения», издаваемого в Петербурге, за несколько тысяч верст от Сибири, хорошо поставленный отдел корреспонденций был совершенно необходим. Однако найти в Сибири 80-х годов достаточно подготовленных корреспондентов было не так-то просто. Сибирская администрация жестоко преследовала всех осмелившихся протестовать против произвола и угнетения. В этих условиях привлечение к газете политических ссыльных приобретало для редакции исключительное значение, открывая возможность иметь честных сотрудников в самых глухих

районах Сибири. И не случайно подобный состав корреспондентов «Восточного обозрения» был в то время в центре внимания Главного управления по делам печати, которое усматривало в нем основную причину «предосудительного» направления газеты.

Статьи и заметки политических ссыльных расширяли содержание газеты, способствовали более углубленному и радикальному освещению на ее страницах острых вопросов сибирской жизни (переселенческого, «инородческого» и других).

Следует также учитывать те неимоверные трудности, которые приходилось преодолевать политическим ссыльным при установлении контактов с петербургской редакцией «Восточного обозрения». Литературная деятельность ссыльных преследовалась администрацией. Немало ссыльных в подобной обстановке были вынуждены отказаться от сотрудничества в сибирских газетах, в том числе и в «Восточном обозрении». Среди последних был и В. Г. Короленко, отбывавший в то время свою якутскую ссылку*.

В 1887 г., стремясь поднять интерес к газете, поставленной под контроль цензуры, Ядринцев решил перенести ее издание в Иркутск. С этого времени в истории «Восточного обозрения» начинается новая полоса. Газета получила возможность стать ближе к местной жизни, создавались и более благоприятные возможности для участия в ней политических ссыльных. Последнее имело большое значение, так как, оказавшись в Иркутске, «Восточное обозрение» лишилось ряда прежних сотрудников.

Под влиянием ссыльных облик газеты претерпевает серьезные изменения. Недавние участники общероссийского революционного движения не могли удовлетвориться идеями сибирского областничества. Такая программа газеты представлялась им слишком узкой и однобокой. Радикальная часть ссыльных стремилась использовать страницы «Восточного обозрения» для проповеди своих убеждений среди местного сибирского населения и воспитания его в демократическом духе.

Новые сотрудники «Восточного обозрения» полагали необходимым давать читателям газеты и возможно более широкую информацию о событиях мирового революционного движения.

Среди тех, кто в конце 80-х — начале 90-х

годов определял лицо газеты, одно из первых мест принадлежит Д. А. Клеменцу*. К этому времени он был уже видным участником общественной и культурной жизни Сибири. Клеменец не вел в Сибири непосредственной революционной работы, но своей общественной и научной деятельностью он продолжал служить тем же идеям, которые в дни молодости привели его в кружок «чайковцев» и организацию землевольцев.

Избранный в 1891 г. правителем дел Восточно-Сибирского отдела Русского Географического Общества, Клеменец выступал на страницах «Восточного обозрения» как организатор научного изучения Сибири и неутомимый поборник ее культурного развития. При этом ему была чужда областная ограниченность, довлевшая над рядом видных представителей сибирской интеллигенции. Рассматривая Сибирь как часть России, он тесно связывал вопросы ее изучения с развитием русской науки в целом, с процессом познания и изучения России. Выступая на страницах газеты, он старался пробудить в населении интерес к краеведению и привлечь его к изучению своей страны. «Велико и обширно наше отечество. Много неизведанного скрыто еще в громадных пространствах его. Многие великие общенаучные вопросы свое твердое решение получают только тогда, когда оно будет детально изучено... Познание России во всей ее обширности и разнообразности не только законная дань любви к ней, но наш долг перед всем человечеством. Не иностранцам же в самом деле, людям, чуждым нашему народу, чуждым условиям нашей жизни — изучать нашу страну. Для них она только научная задача, — все равно как изучение Гренландии или тропической Африки, для нас же — познание самих себя», — писал он в 1891 г., обращаясь к широкой аудитории сибирских читателей. В своих статьях он настойчиво пропагандировал мысль о необходимости развития местных научных учреждений и прежде всего местных музеев и отделов Географического общества, которые должны иметь не только чисто научное, но и практическое значение.

Передовой ученый Клеменец возмущался тяжелыми условиями, в которых находились местные культурно-просветительные и научные учреждения, их полной зависимости от администрации края, от прихотей того или иного лица. В трудных условиях реакции 80-х — начале 90-х гг. он горячо отстаивал право науки развиваться не только в столицах и университетских центрах, но и в провинции, и выражал

* Благодаря за приглашение принять участие в газете, Короленко писал И. П. Белоконому: «С великим бы удовольствием отозвался на предложение Ядринцева, но... вопрос представляет пока еще неразрешимую проблему». Далее Короленко сообщил о прямом запрещении исправника писать для печати. — И. П. Белоконовский. Отрывки из воспоминаний. Голос минувшего. 1914, № 7, стр. 145.

* Д. А. Клеменец — революционный народник 70-х гг., автор ряда революционных стихотворений, один из главных редакторов журнала «Земля и воля».

уверенность в дальнейших успехах культурной жизни Сибири.

Но бывшего землевольца волновали не только вопросы изучения Сибири. В его статьях, рассказах, фельетонах нашел свое отражение целый ряд проблем, волновавших в то время передовую сибирскую общественность. В эпоху господства классической гимназии он делился с читателями «Восточного обозрения» соображениями о необходимости сочетания умственного труда с физическим, как фактора, благотворно влияющего на развитие ребенка. Часто в газете печатались путевые заметки и очерки Клеменца о путешествиях к озеру Косогол, в Монголию и другие районы Сибири и Центральной Азии. Эти очерки расширяли кругозор читателей «Восточного обозрения», пробуждали в них интерес к странам, порубежным с Сибирью, и их культуре.

Несомненно, что годы ссылки были для Клеменца не только временем напряженной творческой работы, но и порой раздумий над прошлым. Они не могли не сказаться на его мировоззрении, усилив те критические элементы, которые были свойственны Клеменцу еще в конце 70-х годов в его отношении к землевольцам и террористической тактике «Народной воли». Очевидно, этот кризис был одной из причин его отхода от революционной борьбы. Но, перестав принимать непосредственное участие в революционном движении, он сохранил верность демократическим заветам 70-х годов.

Среди сотрудников «Восточного обозрения» Клеменц пользовался большой и заслуженной популярностью. Он входил в состав редакции газеты, участвовал в составлении ее передовых статей, а в 1892 г. даже некоторое время редактировал «Восточное обозрение».

Наряду с Клеменцем активное участие в делах газеты в 1892—1894 годах принимал политссыльный В. В. Демьяновский, возглавлявший репортерскую часть и переписку с корреспондентами. Его энергии «Восточное обозрение» во многом было обязано своим существованием в 1893 — начале 1894 гг.*

Влияние ссыльных на дела газеты и ее направление быстро росло. Подолгу, иногда в течение нескольких лет, политссыльные вели центральные отделы газеты, в значительной степени определяя их содержание. Так, отдел сибирской хроники продолжительное время находился в ведении С. Ф. Ковалика. Его хрони-

кальные заметки сообщали об ужасных условиях крестьян-переселенцев, которых гонят в Сибирь нужда и голод, о «крайне неприглядном» положении рабочих Сибирской железной дороги, отсутствии медицинской помощи среди крестьян Нижней Тунгуски и других вопиющих явлениях сибирской жизни. Приняв участие в Якутской (Сибиряковской) экспедиции, Ковалик не прекратил сотрудничества в газете, публикуя в ней свои путевые заметки.

Другой отдел газеты «Хроника русской жизни» почти на протяжении двух лет, с конца 1891 до осени 1895 гг., вел Е. И. Яковенко**.

Большая часть его выступлений была посвящена анализу аграрного развития пореформенной России. Он стремился показать читателям, что причины того бедственного положения, в котором находились крестьянские массы страны в конце XIX столетия, надо искать не в тех или других явлениях природы, а в совокупности всех условий крестьянской жизни, сложившихся в результате реформы 1861 г.

Своим дальнейшим развитием этот отдел был обязан деятельности другого политического ссыльного — Ф. Я. Кона***. В конце 1894 г. он переехал из Якутской области в Иркутск и вскоре получил приглашение войти в состав редакции «Восточного обозрения» в качестве обозревателя русской жизни. «В газете, — вспоминал Кон, — это было некоторым новшеством. До этого велась только хроника...»

Летом 1895 г. участие Кона в редакционной работе было прервано иркутским генерал-губернатором, выславшим его в г. Балаганск. Но сотрудничество Кона в газете не прекратилось. Он по-прежнему много работал, посылая в «Восточное обозрение» свои корреспонденции, печатавшиеся там за подписью «К. О. Н.», а одно время даже вел в газете новый отдел «Литературное обозрение», фактически обязанный ему и П. Ф. Якубовичу своим возникновением. На страницах «Восточного обозрения» он приветствовал появление новых рассказов А. П. Чехова, В. Г. Короленко и других прогрессивных русских писателей. Как литературный критик, Кон резко выступал против пресловутой теории так называемого «чистого искусства» и ее приверженцев.

Гордостью литературно-критического отдела газеты были в эти же годы выступления

* В. В. Демьяновский в 1881 г. был арестован по делу партии «Народная воля». Харьковским военно-окружным судом осужден на 4 года каторги, замененной ссылкой на поселение в отдаленные места Сибири. В 1891 г. был привлечен к ответственности за организацию революционного кружка среди забайкальской разночинной молодежи, за что получил добавочно еще 5 лет ссылки.

** Е. И. Яковенко сослан в Сибирь по делу 1 марта 1887 г. В 1890 г. дебютировал в «Восточном обозрении» очерком из жизни Приангарья. В 1891 г. переехал в Иркутск и вошел в состав редакции газеты.

*** Ф. Я. Кон — участник польского и русского освободительного движения. В 1884—1904 гг. отбывал каторгу и ссылку в Сибири за участие в польской партии «Пролетариат». Впоследствии — видный советский партийный и государственный деятель, историк-публицист.

П. Ф. Якубовича****, после многолетней каторги, осенью 1895 г. переведенного на поселение в г. Курган. Его «литературные беседы», несмотря на некоторую субъективность оценок их автора, учили читателей «Восточного обозрения» понимать и ценить лучшие произведения русской литературы тех лет.

Особенно тесно с политической ссылкой был связан отдел иностранной жизни, всецело обаянный ей своим развитием и популярностью. С 1891 по 1895 гг. во главе этого отдела, последовательно сменяя друг друга, стояли политические ссыльные: Е. И. Яковенко и П. Г. Заичневский. Им довелось вести отдел в годы, которые В. И. Ленин определял как период «подбирания и собирания сил пролетариата». Это было время нового подъема международного рабочего движения и крупных успехов европейской социал-демократии. Происходящие события не могли не волновать политических ссыльных, с интересом следивших за их развитием. В этом отношении деятельность Яковенко и Заичневского не была чем-то исключительным. Составленные ими «обзоры» и «хроники» отражали взгляды определенной части революционно-демократической ссылки, сохранявшей веру в революционный прогресс человечества.

Работая в условиях легальной печати, Яковенко и его товарищи были лишены возможности широко и последовательно развивать свои мысли на страницах «Восточного обозрения». Поэтому их усилия были направлены главным образом на то, чтобы использовать специфические особенности отдела для наиболее полной информации читателей о революционной жизни Европы и Америки.

Преемником Яковенко на посту заведующего отделом иностранной жизни стал П. Г. Заичневский. Арестованный в 1889 г. за противоправительственную пропаганду и организацию революционных кружков среди молодежи центральной России, он был сослан в Восточную Сибирь, где пробыл более пяти лет.

Современник Чернышевского и Михайлова, Заичневский представлялся «далекой историей» в глазах окружающих его людей. Но преклонный возраст не мешал ему с прежней энергией вести революционную пропаганду и в период его второй сибирской ссылки.

Обосновавшись в Иркутске, Заичневский вскоре стал одним из ведущих сотрудников «Восточного обозрения». Газета привлекла его возможностью общения с широкой читательской аудиторией, и старый революционер отдавал ей много сил и энергии.

Несмотря на свои бланкистские взгляды, Заичневский с большим вниманием следил за развитием европейского рабочего движения и с уважением отзывался о его деятельности. Он сообщал читателям о блестящей речи Жореса, доказывающего неизбежность рабочего движения при данном ходе экономического развития, давал подробную информацию о статье Лафарга, посвященной современному положению крестьянства, высоко оценивал борьбу К. Либкнехта против милитаризма и угрозы войны и т. д. Подобно Яковенко, Заичневский не ограничивался хроникой рабочего движения, он стремился показать его закономерность. Он писал о борьбе труда с капиталом, о том, как тяжело и трудно, путем «нескончаемой страстной борьбы, покупает труд каждый шаг вперед...» Его радовали победы рабочего движения, и он с удовлетворением отмечал их на страницах «Восточного обозрения» как факты успешной борьбы между отжившей правдой вчерашнего дня и надвигающейся правдой завтрашнего.

В обзорах Заичневского можно было найти немало метких характеристик политических деятелей и организаций той эпохи. Характерно, что в отличие от областников, идеализовавших Соединенные Штаты Америки, Заичневский с большой силой сумел показать буржуазную ограниченность американской демократии и ее двухпартийной парламентской системы. Сильное развитие капитализма не только на севере, но и на юге стерло, по его мнению, существенные различия между республиканцами и демократами и сделало обе партии «представителями капиталистических интересов». Характеризуя политическую жизнь США, он указывал также на вред, который причиняет населению Америки расовая дискриминация негров, продолжающая сохраняться, несмотря на признанную законом равноправность их положения..

Надо сказать, что обзоры Заичневского были примечательны не только тем вниманием, с которым их автор относился к рабочему и социалистическому движению Запада, но и его выступлениями по вопросам международной политики. Почти все они посвящены разоблачению милитаризма и угрозы надвигающейся войны. Эта тема волновала Заичневского не меньше острых социальных проблем, стоявших перед человечеством в конце XIX столетия. Он с негодованием писал о гнете, который налагает милитаризм на народные массы Европы, отвлекая их от внутренней работы и ставя «под ружье всех, кто в состоянии держать это последнее». Заичневский рисовал перед читателями «Восточного обозрения» картину будущей страшной войны, к которой ведут народы их правительства. Он по-

**** П. Ф. Якубович — русский поэт, революционер-народоволец. В 1887 — 1895 гг. отбывал каторгу и ссылку в Сибирь.

нимал, что для последних война является не только орудием внешней политики, но и своеобразным громоотводом от назревающих социальных конфликтов.

Но Заичневский, очевидно, не считал войну неизбежной. Указывая на рост недовольства среди широких масс населения, он писал о мире, к которому страстно стремятся народы, и выражал твердую уверенность в том, что пройдет немного времени, «и солнце правды заблестит над утомленным, измученным человечеством, исчезнет милитаризм, на плуги раскуют оружие, чувство братства и солидарности народов одно и всецело будет царить в отношении людей между собой... и человек вздохнет свободно». Он сохранил эту веру в сибирской ссылке и сумел поделиться ею с читателями «Восточного обозрения», оставив глубокий след в их сознании.

Революционизирующее влияние Заичневского на направление «Восточного обозрения» не ограничивалось его работой в отделе заграничной жизни.

Пытаясь усилить демократическую направленность газеты, он стремился придать редакции «Восточного обозрения» более цельный и однородный характер. На этой почве, как и по содержанию газеты, у него происходили определенные разногласия с И. И. Поповым, с 1894 г. стоявшем во главе «Восточного обозрения».* Во всяком случае их взаимоотношения складывались далеко не столь гладко и ровно, как это изображалось много лет спустя самим Поповым в его воспоминаниях. Заичневский был против намерения Попова ввести в состав редакции некоторых либеральных чиновников Иркутского генерал-губернаторства, считая, что это ослабит газету.

В это же время в газете активно сотрудничали Р. Стеблин-Каменский, С. Л. Чудновский, В. С. Ефремов и ряд других ссыльных Сибири.

Естественно, что при таком направлении и составе сотрудников «Восточное обозрение» доставляло много хлопот местной администрации и цензурному ведомству. Генерал-губернатор Восточной Сибири смотрел на нее как на неизбежное зло, которое в известных пределах приходилось допускать в условиях России конца XIX столетия. При этом он не терял надежды «приручить» газету и использовать ее в своих интересах.

Д. А. Клеменцу, Е. И. Яковенко, Ф. Я. Кону, П. Г. Заичневскому и другим политическим

ссылным приходилось работать в исключительно тяжелых условиях под постоянной угрозой дамоклов меча цензуры и генерал-губернаторской расправы.

Особенно жестоко преследовались обличительные корреспонденции, в большинстве своем принадлежащие политическим. Такие материалы сплошь и рядом зачеркивались цензурой, а содержащие их корректурные листы направлялись в канцелярию генерал-губернатора. «Газета «Восточное обозрение», — указывал он 30 мая 1894 г. в письме на имя начальника Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистова, — за все время существования не прекращает попытки к обнаружению самого вредного направления, как к подрыву в общественном мнении правительственных распоряжений, так и к дискредитированию в глазах населения действий властей на месте. Ввиду этого выпуск каждого номера наименованной газеты требует не только самого внимательного цензурования со стороны занятого этим делом чиновника, но и моего не престанного в этом деле наблюдения. Почти каждая руководящая статья подвергается значительным, нередко превышающим половину размера всей статьи сокращениям».

История «Восточного обозрения» неотделима от прошлого русской журналистики 80-х — начала 90-х гг. В судьбе газеты нашли свое отражение характерные черты передовой русской прессы тех лет, идейные искания интеллигенции, ее борьба против террора реакции в общественной и культурной жизни России. Ее положение в Сибири было исключительно сложным и ответственным, ибо число других «временных» изданий здесь весьма ограничено, журналы же, получившие такое значение в европейской части страны, отсутствовали совершенно.

В этих условиях благодаря ссылным «Восточное обозрение» смогло стать одним из крупных явлений общественной и культурной жизни края. В ней не было раздела, который так или иначе не был бы связан с политической ссылкой. Центральные же отделы газеты, такие, как общественно-политический, научный и литературно-критический именно ссылным были обязаны своим расцветом и популярностью у сибирских читателей.

Участию политических «поднадзорных» газета была обязана расширением своей тематики, тенденцией к преодолению областнической ограниченности, свойственной некоторым из ее сотрудников, считавших себя последователями Ядринцева. Под влиянием ссыльных на страницах газеты появляется целая серия статей, обзоров, заметок и других публикаций, посвященных животрепещущим вопросам русской и зарубежной жизни. Эти материалы расширяли

* И. И. Попов — один из участников «Молодой партии Народной воли». В 1885 г. был арестован и сослан в Забайкалье. В 1894—1906 гг. — редактор «Восточного обозрения». К середине 90-х годов сблизился с областниками и сделал заметный шаг вправо, в сторону либерального народничества. Автор известных воспоминаний «Минувшее и пережитое».

кругозор читателей «Восточного обозрения», привлекали их внимание к актуальным социальным проблемам, стоящим перед человечеством в конце XIX столетия. Они поднимали общественное сознание сибиряков, их гражданственность, вызвали чувство ответственности за судьбы Родины и ее народа.

В конце 1896 г. в «Восточном обозрении» была опубликована известная статья Л. Б. Красина «Судьбы капитализма в Сибири» — первый опыт марксистского анализа социально-экономического развития Сибири. Появление этой статьи было знаменательной вехой в истории сибирской прессы, возмещающей начало нового этапа в ее развитии.

Василий Мирошниченко

Весна идет издалека

С душой лирической, как песня,
Русоволоса и звонка,
Тайгой, полями, редколесьем
Весна идет издалека.
И ей, веселой и лучистой,
Везде, куда ни погляди,
Уже давно бульдозеристы
В снегах расчистили пути.

Перекур

На весеннем раннем севе
Птичий щебет: «Все вы? Все вы?»
Чернота бескрайней пашни
Убегает в день вчерашний.
И под гул железных тактов,
Что слышней в вечерней хмури,
Тракторист, заправив трактор,
Бригадиру: «Перекурим».
И дымят густой затяжкой,
Набекренивши фуражки...
Трактор тоже на поляне
Дым пускает кренделями.



Любовь Скорик

Улыбка Вьетнама

Я произношу название этой страны, и тотчас в моем сердце начинает звучать сокровенная, удивительно чистая и нежная струна, «Вьет-нам» — это как первая, робкая еще нота утренней песни птиц. Это как журчание прозрачного ручья, как звук флейты, как тихий шелест спелых рисовых колосьев. Как многозвучно это короткое слово! «Вьетнам» — это как тревожный бой барабана, как боевой клич, как неумолчно звучащий набат.

У Вьетнама сложная палитра красок — от самых суровых и мрачных до ослепительно ярких и солнечных. Это разноцветие было первым, что поразило нас, когда еще между нами и Вьетнамом было три тысячи метров по вертикали.

Вьетнам возник под крылом самолета как огромное пестрое покрывало, и составляющие его лоскуты были совершенно «неземных» цветов. Уже потом, поехав, поездив по этой земле, мы разгадали их «секрет». Голубые — это затопленные водой поля, в которые опрокинута голубизна неба. Изумрудно-зеленые — густая щетина рисовых всходов. Золотисто-желтые — готовый к уборке спелый рис.

Вот такой же празднично-нарядной видели с самолетов вьетнамскую землю американские

летчики. И они тщательно целились в эту голубизну, в эту изумрудную зелень, в это золотое сияние. А потом любовались, как на месте зеленого поля зияли черные воронки, как золотое колосье превращалось в мертвый уголь, как рассыпались бамбуковые хижинки, и мечущиеся крохотные фигурки людей одна за другой становились неподвижной, распростертой на земле мишенью...

Мы ожидали увидеть суровые лица, затаенную в глазах боль и ожесточение. Казалось, именно такими должны сделать вьетнамцев десятилетия бесчеловечной войны. А они неожиданно оказались улыбчивыми, приветливыми, мягкими, доброжелательными.

Мы предполагали в облике людей, поразивших мир героизмом, увидеть нечто богатырское. А встретили нас женщины и мужчины низкорослые, узкоплечие, застенчивые.

Мы ожидали услышать металл в голосе вьетнамцев. Ведь почти три десятилетия они разговаривали под непрерывный гул самолетов, грохот взрывов, свист пуль. А у них оказались нежные, тихие голоса. Мягкие, певучие, неожиданно замирающие на самой высокой ноте и оттого как будто постоянно о чем-то вопрошающие — они звучат, как музыка, как песня.

И песня эта, как жизнь, не укладывается в одну тему, в одно настроение.

Первое мое утро во Вьетнаме. Просыпаясь на рассвете от шума дождя. Ну что ж, все правильно. Рядом тропики, и дождь здесь — дело самое обыденное. Подхожу к окну и... нет никакого дождя. Сухо, солнечно. Но дождевой шум слышится совершенно явственно. Долго смотрю на улицу и начинаю понимать его происхождение. Сотни ног обуты в сандалии на деревянной подошве. При каждом шаге подошва отстает от ноги и слегка шлепает об асфальт. словно большая капля. Тысячи шагов — тысячи падающих капель. А монотонный звук льющейся воды — это шелест велосипедных шин. Сколько же их?! Мы, конечно, знали, что Вьетнам — страна велосипедистов. Но чтобы столько!

Вот движется стог сена, будто подталкивая пожилого мужчину, который крутит педали невидимого, зарытого в сено велосипеда. Чуть поодаль таким же образом шустро перемещается огромная пирамида корзин. А вот на велосипеде целое семейство. Он, как и положено мужчине, управляет машиной. Она с малышом на руках — на заднем сидении. Пяти-шестилетний мальчуган примостился на раме перед отцом и помогает ему крутить педали. Кстати, «семейных» велосипедов — большинство. Трое-четверо едущих — почти норма. И надо сказать, что все они с велосипедом запанибрата. Глава семейства одной рукой держит руль, а другой — развернутую свежую газету. Девушка, примостившись на краешке заднего сидения, самозабвенно вяжет. У многих велосипедов сзади приторочены плетеные корзинки для малышей, которые еще сами удержаться не в силах.

Только увидев собственными глазами, на что способен этот двухколесный работяга, начинаю верить тому, что вычитала до поездки: на велосипеде вьетнамцы перевозят до трехсот килограммов груза. Это — их основной транспорт военного времени. По узким горным тропам, через болота и джунгли на велосипедах перевозили боеприпасы, горячее, продовольствие для армии. Не подает эта ма-

шина в отставку и в мирное время. У каждого завода, фабрики, конторы — стоянки велосипедов, иногда на несколько кварталов.

Возраст велосипедистов не ограничен, можно встретить и пятилетнего мальчишку (лишь бы ноги достали до педалей!), и 80-летнего старика. В конце концов начинаю понимать буквально шутку, что вьетнамец рождается и умирает на велосипеде.

Вьетнамцы... Горькая гордость планеты. Хотелось заглянуть в сердца этих людей, понять секрет их силы и победы. Мы пытливо смотрели в глаза, где, казалось, еще не потух отблеск пожарищ и слабый огонек свечи, освещавшей их подземное военное жилище..

Из множества окружающих нас людей, из обширного калейдоскопа лиц — особенно памятно одно.

...Он был рядом с нами с того момента, когда мы, покачиваясь после 22-часового перелета, вышли в Ханойском аэропорту, и до той минуты, когда ИЛ-18 взмыл ввысь и взял обратный курс на Москву. Он показывал нам свою страну, помог нам познать душу своего народа. Для нас он — олицетворение Вьетнама. И не случайно всякий раз, вспоминая эту землю, я в первую очередь вижу перед собой его — нашего гида Суан Зы, или попросту Сашу.

Наш Саша — типичный вьетнамец не только по своему внешнему виду. Он являл нам яркий образец «классического» вьетнамского характера. По-восточному тих и незаметен. Обладает непостижимой способностью вдруг исчезнуть, словно раствориться. Еще одна чисто восточная черта. Со всем, что вы предложите, с готовностью согласится и... сделает по-своему. Уже гораздо позже уразумели мы, что по их понятиям отказать, сказать «нет» — значит, обидеть, почти оскорбить. Достаточно полунамека, чтобы собеседник понял, что задуманное невозможно. Увы, до европейцев, с нашим статусом определенности, полунамеки как-то доходят не вдруг.

Но как наш Саша умел улыбаться — широко, открыто, распахнуто! Эта улыбка вмиг смыла-

ла с его лица все эти восточные условности и премудрости, и как это вообще здорово, что война, почти 30-летняя дикая война, не смогла стереть с лиц вьетнамцев их улыбку!

Суан Зы — неисправимый шутник. Надо было слышать, с каким юмором рассказывал он о том, как, учась в Уфе, он впервые в жизни



ГИД И ДРУГ СУАН ЗЫ

испытал жестокие морозы, надел на голову меховую шапку, а на ноги неуклюжие огромные валенки. По его словам, в каждом городе, куда мы приезжали, у него есть девушка, которая, конечно же, страшно любит его и страдает, когда его нет. Кстати, на поверку Суан Зы — отличный муж и нежный отец. Он с удовольствием рассказывал нам о своей жене (она техник на текстильном комбинате) и детях — трехлетнем сыне и трехмесячной дочери. Мы, помня, что среднее число детей во вьетнамских семьях близко к десяти, говорили ему: «За вами долг — еще восемь». На что он неизменно отвечал: «Нет! Стоп!»

Я уже говорила о способностях нашего гида бесследно исчезать. Это, как правило, происходило во время еды.

В первый же обед нас поразил его ответ на наше приглашение к столу: «Я уже завтра-

кал — теперь только ужин». Оказалось, что вьетнамцы едят только дважды в день. Обед для них — излишество, роскошь. «Кроме того, — пояснил он, — во Вьетнаме до сих пор карточная система, продукты отпускают по жестким, почти еще военным нормам. Стандартная трапеза вьетnamца — чашка риса, немного овощей и очень редко — кусок рыбы или мяса. Некрасиво, если я буду есть лучше, чем все остальные». Видя, что нашему хлебосольству нет предела, он просто стал испаряться, когда наступала пора идти в ресторан.

Он великий оптимист — наш Суан Зы, наш Саша. Ни разу не помню, чтобы он сказал просто: «Этого у нас нет». Он непременно добавлял: «Пока».

— Сохой пашут? Не видите тракторов на полях? Их пока что не хватает.

— Строим вручную?.. Строительной техники нет, пока нет.

— Живем в основном в хижинах?.. Так это же пока!

И сам он с женой, двумя детьми и старой матерью живет в крошечной комнатке и тоже утверждает, что это «только пока».

Ясно читается в глазах нашего гида, как, прочем, в глазах большинства вьетнамцев, какая-то высшая спокойная мудрость. Должно быть, ее истоки там — в тех кровавых военных годах, когда познавалась истинная суровая суть жизни и смерти. Оттуда, из тех разорванных в клочья лет, — их великое терпение, их неистовая любовь и жгучая ненависть, их неокружимая воля и оптимизм.

Саша любил говорить, что неправда, будто вьетнамцы из железа, — они из стали. Мы однажды шутя сказали ему, что, должно быть, он не плакал даже в детстве. Неожиданно наш вьетнамский друг стал совершенно серьезным: «Плакал, очень горько плакал. Когда меня не взяли в действующую армию, сказали, что я нужен на своей работе». Мы узнали в тот день, что Суан Зы несколько лет был в народном ополчении, по ночам со своим пулеметом дежурил на крыше той самой столичной гостиницы, в которой мы жили.

Я представляю его маленькую фигурку у пулемета. Над ним проносится летающая двукрылая смерть, изрыгая огонь. А он целится в это

чудище. Каждую ночь над Ханоем были тревожные sireны. Каждый день находили ханойцы на месте какого-то района чадящие руины. Каждое утро Суан Зи вместе с другими хоронил своих товарищей. Может быть, от тех дней осталась в его глазах непроходящая затаенная грусть, даже когда он смеется?

Так уж повелось, что в любой туристской поездке большая часть времени отводится посещению музеев. Первый, второй, пятый... Тщательно скрывая зевоту, старательно вписываешь в записную книжку века, стили, имена. Потом, дома, будешь долго разбираться в мешанине из всего этого.

Музеи Вьетнама... Их совсем немного. Вряд ли они могут соперничать по богатству с европейскими. Зато каждый их экспонат ложится прямо в сердце.

Бамбуковые стрелы — оружие против древних захватчиков. И точно такие же — против варваров двадцатого века. Когда оружия не хватало, приходил на помощь арсенал предков.

Гильотина. Доставлена из Парижа как необходимейшее средство внедрения прогресса и цивилизации, которую несли темным, отсталым вьетнамцам сердобольные и культурные французы. Цивилизация внедрялась столь активно, что одна гильотина с работой не справлялась. Спешно была привезена вторая.

Арестантская одежда Хо Ши Мина и его товарищей по борьбе. Нынешние члены Центрального Комитета компартии Вьетнама в общей сложности провели в тюрьмах более трехсот лет.

В одном из залов нет ничего, кроме фотографий, в большинстве своем сделанных американскими солдатами. Вот белокурый юный воjak, почти мальчик. Широко улыбаясь, держит за волосы две отсеченные головы вьетнамцев. Дитина в военной американской форме над лежащим у его ног связанным вьетнамским юношей. К сердцу поверженного приставлен кинжал. Оно еще бьется, это сердце. Рокочное мгновение чуть-чуть отсрочено, чтобы более эффектной была фотография, чтобы запечатлелся ужас на лице пленного, который

через мгновение станет «бывшим пленным». Кому предназначались эти фотографии — матери, жене, другу, любимой?..

Трудно осознать до конца страшную фразу официальной статистики: «Во Вьетнаме нет ни одной семьи, которая бы не потеряла во время войны хотя бы одного своего члена». Хотя бы одного... Есть семьи, уничтоженные полностью. Есть люди, оставшиеся в единственном числе от некогда большой и шумной семьи. Но даже если одного...

В каждом городе в самых густонаселенных местах то и дело натываемся на плешины, с которых, кажется, выбрито все — дома, улицы, парки. Не сразу поняли мы, что это районы, начисто уничтоженные бомбежками. Сколько на каждой из этих зловещих пустошей оборвалось жизнью? Сколько старых, юных и только что рожденных недосмотрели сны, недолюбили, недомечтали, не успели насытиться теплым сладким материнским молоком?

Что, казалось бы, более естественно и неодолимо, чем тяга человека к свету, к солнцу! Но, оказывается, даже эта истина может быть поколеблена. Свет, этот извечный друг, неожиданно стал помощником врага. В высеченные солнцем фигуры людей легче было целиться с самолета. Джунгли — темные, жуткие, кишачие дикими зверями и змеями, — оказывались менее опасным местом, чем ровное, залитое ласковым теплым светом поле. В непроходимые джунгли были эвакуированы дети. Вьетнамцы поменяли им день и ночь. Днем дети спали в глубоких подземных убежищах. Выходили наверх, играли при свете звезд и луны. Ночью же учились в школе. Несколько поколений вьетнамских детей выросли, не зная солнечного света. Привыкали к нему после победы.

Сегодня они постигают истинную суть многих вещей. Постигают не сразу и не просто. До сих пор они вздрагивают, услышав в небе самолетный гул. Не могут поверить в то, что самолет может не нести на своих крыльях смерть и не сбрасывать ее на беззащитные детские головы.

Из многих встреч на вьетнамской земле эта была по-особому волнующей. У входа три крохи с трудом удерживают огромнейшие букеты

георгинов. Они смущены не меньше своих воспитательниц. Им предстоит показать гостям свой дом — детский сад: комнаты для занятий, игр, спальни. Спальня — особая гордость. Ведь здесь у каждого ребенка — отдельная кроватка и одеяло. А по нынешним временам — это просто сказочное богатство.

Правда, игрушек пока немного. То есть на весь детский сад — одна, неизвестным образом попавшая сюда заводная машинка. Составлен строгий график игры с ней. «Игры» — это слишком громко. Дети садятся кругом, воспитательница осторожно заводит машинку, и 30—40 пар восторженных глаз, не моргая, следят за ней. Затем игрушку передают в соседнюю группу. Вы поймете, с какой радостью выкладывали мы из коробок привезенных нами кукол, матрешек, медведей, зайцев, яркие книжки-раскладушки, цветные карандаши, альбомы и тетради.

Наш автобус останавливается у рисового поля. Я беру в ладонь и долго рассматриваю кусочек земли.

«Вьетнам — земля многострадальная». Эту фразу надо понимать буквально. На Северный Вьетнам, который по площади всего в полтора раза больше нашего Кузбасса, сброшено бомб больше, чем на все страны во второй мировой войне. Вьетнамская земля прямо-таки нафарширована смертоносным металлом.

Мы видели за работой строителей, ткачей, рыбаков. Однако, чтобы понять отношение вьетnamца к труду, его надо хоть однажды увидеть на рисовом поле.

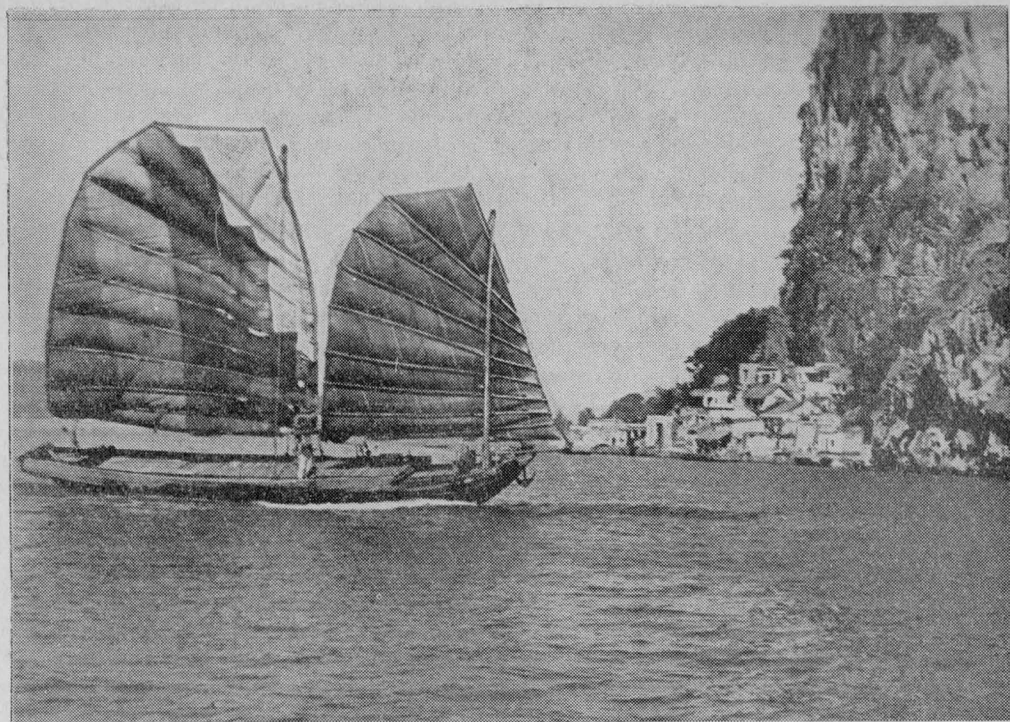
Голубыми зеркальными осколками по полю разбросаны небольшие озерки. Это — специально затопленные водой участки, готовые принять ростки риса... В этой работе на помощь человеку не приходит даже буйвол. Под испепеляющим солнцем, лишь прикрыв от него голову островерхой широкополой шляпой, с зари до зари бредет по воде крестьянин, вручную высаживая рисовую рассаду. Каждый стебелек — отдельно! Каждому — низкий, до земли поклон. Это очень нелегко — длинный-длинный день, не разгибая спины, провести в мутной

грязной жиже, кишасей пиявками. Очень нелегкая работа! Но мы видели лица этих людей, и мы поняли, что они по-настоящему счастливы! Пусть у них пока нет (поездив, похолодив по Вьетнаму, мы вслед за нашим оптимистом Суан Зы тоже стали уверенно говорить «пока нет») — пусть у них пока почти нет тракторов и других машин. Но над ними теперь тихое, не угрожающее смертью небо, у них есть земля, их переполняет неутомимая жажда работы, в избытке скопившаяся за долгие годы войны.

Сошедшими с чудесных гравюр кажутся женщины этой страны. Они являлись в различном облики: в окружении детей, с букетом цветов или с лопатой в руках, в строю с винтовкой на плече, в маске электросварщика, работающие и поющие, танцующие на сцене. И все же самая типичная картина — вьетnamка с коромыслом. Что только она не переносит на нем: рис и тюки прессованной соломы, кирпичи и бетон, овощи и даже... детей.

Совершенно прямое бамбуковое коромысло, лежащее на плече, сильно пружинит, сгибается при каждом шаге. Висящие на нем корзины начинают раскачиваться, грозя рассыпать груз. Надо не дать корзинам раскачаться, успеть сделать встречное движение. Поэтому женщина с коромыслом не ходит, она вынуждена бежать. И вот всюду по улицам городов и деревень, по дорогам и тропам, на полях и по крутым строительным лесам — всюду бегущие женские фигурки с коромыслом на плече. И так они быстры, так ловки и стройны, что со стороны кажется, будто корзины чрезвычайно легки, а вся работа просто в забаву.

Однажды, решив проверить это впечатление, мы остановили бегущую нам навстречу старую женщину и сняли с ее плеча коромысло с корзинами. Они были полны риса. Мужчины, по очереди взвесив на руках, определили их вес — 50—60 килограммов. Они настоятельно рекомендовали нам не продолжать эксперимент. Нам же не хотелось сдаваться. Ведь все мы были гораздо крупнее и моложе этой вьетnamки. И мы не отступили: сменяя друг друга, донесли груз до места. А ведь эта старая, худая



РЫБАЧЬЯ ДЖОНКА В ЗАЛИВЕ ХАЛОНГ

до прозрачности женщина, с раннего утра до вечера носит рис с поля к неумолчно работающей рисорушке.

Европейцев неизменно восхищает изящество и легкость вьетнамок, стремительность их летящих походок при сдержанности движений, грациозность, глубокий внутренний огонь в их типично «восточных» глазах, ослепительно белозубые робкие улыбки и нежный румянец, чуть пробивающийся сквозь смуглость щек. Предмет нашей зависти — их волосы. Мы не видели ни одной вьетнамки даже с намеком на прическу. Волосы перехваченные лентой, тяжелой волной падают на спину, текут по ней, как блестящий черный водопад.

И еще одно качество, делающее вьетнамку привлекательной — ее естественность: ни косметики, ни причесок, ни украшений. Одежда — черные шаровары и защитный или серый пиджак. Это, как правило, воинское обмундирова-

ние, перешитое, выцветшее, залатанное. В праздник — то же самое плюс простая белая кофта. У вьетнамок нет (пока нет!) в достатке красивой одежды. Они и без нее восхищают каждого, кто бывает в этой стране.

Однако женщина есть женщина, и ничто не в состоянии изменить ее сути. А тяга к красивому — одна из неотъемлемых черт женского характера. Зная о том, что Вьетнам почти у тропиков, мы, собираясь туда, положили в свои чемоданы и надели на себя легкие летние платья. Как часто потом нам хотелось закутаться в какое-нибудь серое покрывало, чтобы стать неприметными, не выделяться в толпе. Потому что в своих ярчайших ситцах, крепдешинах, трикотинах мы были как разноцветные фонари на ровном спокойном фоне. Нам казалось, что встречным хочется зажмуриться от этой яркости и пестроты.

Но когда мы подолгу бывали рядом с вьет-

намками (чаще всего — на переправах), то не раз замечали их восхищенные и любопытные взгляды. Стоит улыбнуться в ответ, кивнуть головой — и вот уже чувствуешь, как чьи-то пальцы осторожно касаются твоего плеча, пробегают, проводят по тонкому шелку, слышишь восторженное цоканье — обычное выражение вьетнамцами восхищения.

Вьетнамцы очень гордятся теми памятниками старины, которые сохранили столетия. Кстати, века и эпохи подчас оказались менее неумолимыми, чем представители современной, считающей себя очень культурной страны. Американские летчики, не дрогнув, бросали бомбы на историю страны, которой уже более четырех тысяч лет. Но историю убить невозможно.

Храм Духов построен в XI веке. Сидящий в нем четырехметровый бронзовый Великий дух охраняет оставленные здесь сапоги самого Будды. Наивные прекрасные легенды, кажется, заполняют всю пагоду. Чтобы не спугнуть их, здесь царит полумрак. Лишь свечи высвечивают деревянные лики духов.

Из множества памятников культуры и истории, пожалуй, самый ценный — Храм литературы. Этот первый институт вьетнамской нации появился 900 лет назад. Вошел в историю как арена состязаний поэтов. Имена лучших из них начертаны на каменных стелах-надгробьях. Сколько прекрасных, мудрых строк слышали эти древние стены! Сколько видели они за девять веков своей жизни! Ханойский Храм литературы — это достояние и гордость не только вьетнамцев, но и всего человечества.

Мы ходили по улицам Хайфона. Солнечность и покой в природе совсем не гармонировали с танками на дорогах и зияющими пустотами вместо разрушенных бомбежками домов. На этот город сброшено бомб больше, чем на любую другую. Его бомбили беспрерывно.

Неожиданно до нас донесся колокольный звон — певучий, многоголосый. Так звонят только в христианских храмах. Так собирает свою паству совсем не здешний бог. Любопытство повело нас на этот звон, и мы оказались

у гигантского мрачного католического собора. Когда французы пришли в свою колонию — Вьетнам, они старались завоевать не только территорию этой страны, но и души ее людей. На помощь был призван Христос. С иконостаса смотрят лики святых. Бледнолицые, большеглазые, они явились сюда с чужих земель, вернее — с чужих небес.

Священник в ризе, с крестом в руке читает проповедь. Что он внушает собравшимся? Должно быть, как обычно, что нельзя в жизни грешить, ибо грехи приводят в ад. Но чем можно запугать их, переживших войну в Хайфоне? Никакой ад не сравнится с тем, что видели они.

Вьетнамцы спешат стереть с лица земли своей следы войны. Их стараниями уже убраны практически все руины. Однако война порой напоминает о себе в самых неожиданных местах.

...Каждую свободную минуту мы бежали на море. Сказка: конец ноября, а солнце печет, вода теплущая, песок обжигает ноги. Правда, вьетнамцы нашего восторга не разделяют: смотрят, как мы лезем в воду, вздрагивают и сильнее кутаются в шерстяные шарфы.

Знаменитый курорт Досон. Море, пляж, тепло, синь и звенящая тишина. И когда тишина становится просто космической, пронзает мысль: неужели и здесь шла война? В нашем сознании Вьетнам так тесно связан с гулом взрывов и свистом пуль, что эта мысль приходит в голову постоянно. Обычно, приглядевшись, следы войны, царапины и раны находишь всюду. Но здесь эту мысль гоню прочь: уж больно эта умиротворенность и красота вокруг не гармонируют с этим лающим словом.

Бреду по розоватому теплему песку и... спотыкаюсь о мину. Большая бессовестно-пузатая, отлично сохранившаяся, с четырехгранным хвостом, она словно сторожевая собака на цепи. Демобилизовавшись, обрела вполне мирную профессию — сторожит турник, чтобы его не унесло волнами в море. А прямо над миной машет гигантской лапой кокосовая пальма и, как галчата в гнезде, жмутся друг к другу еще не созревшие орехи. Дерево рядом облеплено какими-то нереально желтыми цветами.

Красно-бурое море жмется к розовому песку. Я думаю, как все-таки хрупка эта красота и тишина и как постоянно, каждодневно нужно оберегать ее.

Расположенные с обеих сторон улицы дома буквально нашпигованы людьми. На семью, даже очень многочисленную, — одна (только одна!) комната. Все двери (а часть их заменя-



ВЬЕТНАМСКАЯ ДЕРЕВНЯ

В поход по городу отправляемся в общем-то без особой надежды на успех: авось повезет, познакомимся с кем-то, зайдем к нему в дом, посмотрим, как живет вьетнамская семья.

Но оказалось, что для этого вовсе не обязательно заходить в дом вьетnamца. Стоило нам чуть только свернуть в сторону от центральных улиц, где расположены официальные учреждения, и мы неожиданно оказались в гуще этого самого быта, этой самой повседневной, будничной жизни, заглянуть в которую нам так хотелось. Эта жизнь окружала нас, мы оказались в ее центре.

ет просто циновка) — настель. Вся квартира — как на ладони. Где же полог над кроватью? Где сами кровати? Один общий семейный топчан, самодельный, сколоченный из досок стол да лавка возле него — вот, как правило, вся «мебель». Несколько соломенных и бамбуковых циновок дополняют обстановку. Нередко в этой же или в соседней крохотной комнатке расположена кустарная мастерская или лавка.

Тротуар, как и часть дороги, служит продолжением квартиры.

Старая женщина выставила таз и не спеша купает ребенка, наверное, внука. Неподалеку

две юные девушки, должно быть, сестры моют свои роскошные волосы. При этом успевают говорить и тщательно оглядывают каждого, кто проходит мимо. Примостившись на корточках (излюбленная поза вьетнамцев), оживленно обмениваются новостями две кумушки. Кто-то спит, положив голову на порог, чтоб спрятать ее в тени дома, а ноги вытянуты поперек тротуара. Древняя старуха торгует папиросами в россыпь. Можно купить одну папиросу и одну спичку. Но дешевле прикурить от стоящей рядом и постоянно горящей керосиновой лампы. А вот — «парикмахерская». Парикмахер вынес из дому и поставил на тротуар стул, пристроил напротив обломок зеркала и — готово, подходи стричься-бриться. И всюду — дети. Кажется, что их здесь гораздо больше, чем способны вместить стены этих квартир.

Потом мы видели другие жилища вьетнамцев. В деревне это бамбуковая хижина. Сказочно экзотическая издала, вблизи она выглядит довольно убого. Насквозь продуваемая, нередко промокаемая в дождь, она, конечно, предоставляет своим хозяевам минимум удобств. Еще меньше их у тех, для кого домом является... лодка. Да, нередко вся семья рыбака живет на его джонке. Натянутая на колья циновка — крыша во время дождя. Костер, разведенный в ящике с песком — кухня.

Жилищная проблема — одна из самых острых во Вьетнаме. Она досталась в наследство от времен французского господства, а потом была усугублена войной. И мы очень понимали вьетнамцев, когда они с гордостью, словно это редчайшие архитектурные памятники, показывали новые районы, застроенные обычными для нас и не очень любимыми нами пятиэтажными серыми блочными коробками. Каждый такой дом дает приют многим семьям, которые пока ютятся в хижинах или лодках. И мы радовались, когда видели, как много, очень много строит сегодня Вьетнам.

В первый же день хозяева ребром поставили перед нами вопрос: «Какую кухню вы предпочитаете — вьетнамскую или европейскую?» При открытом голосовании в пользу первой безоговорочно поднялась всего одна

рука. Увы, она принадлежала мне. Но и совершенно остановиться на обычной для нас пище было как-то не с руки. После долгих дебатов все же остановились на европейской кухне, оставив за собою право на несколько чисто национальных обедов. Что сегодня нас ждет вьетнамская еда, мы, придя в ресторан, определяли по нескольким признакам: отсутствие вилок, тарелкам риса вместо хлеба и обилию блюд (принцип — всего понемногу).

Во Вьетнаме выращивают более восьмисот сортов риса и существует, пожалуй, немногим меньше способов его приготовления. Общее у них одно — его варят безо всяких приправ, даже без соли. Уже каждый себе добавляет какой-либо соус: они всегда на столе во множестве и, как правило, все очень острые.

Мы обычно тщательно исследовали то, что нам подавали: нет ли там чего-нибудь «такого», экзотического. Но наш добрый гений Суан Зы давно работает с русскими, знает их вкусы и настроения, и, вероятно, благодаря его переговорам с работниками кухни ничего «такого» нам не подавали. Перед нами на блюдах появлялась рыба — вареная, фаршированная и еще какая-то, куры, самые невероятные салаты, фасоль, сваренная зелеными стручками, редька — чаще всего пареная, крошечные жареные голубцы, печеные яйца, блины, фаршированные креветками, пирожки с бананами и настоящее королевское блюдо — краб, фаршированный, в собственном панцире.

Перед прощальным торжественным ужином наш ангел-хранитель Суан Зы предупредил, что будет «настоящая вьетнамская кухня». Мы поняли, что никаких милостей и скидок не последует. Конечно, можно обойтись и без ужина. Завтра утром родной Аэрофлот предложит нам традиционную курицу и все, что к нейлагается. Но, как знать, может быть, никогда в жизни больше не суждена нам встреча с настоящей вьетнамской кухней. Убедив себя, что предрассудки в себе необходимо побеждать, решаю ответить всего, что будет на столе.

Не надо было быть знатоком кулинарии, чтобы разгадать «секрет» поданного нам супа. Кусочки мяса сохранили на себе лоскутки кожицы с красивым изящным узором. «Подумаешь, что обыкновенного супа со змеей не

ела?» — сказала я себе и взяла ложку. Ничего, суп как суп.

Мы сразу же увидели это огромное блюдо, наполненное золотистыми, обжаренными в сухарях лапками. Без специальной зоологической подготовки любой сразу бы определил, что еще недавно владелицы этих лапок громко квакали перед дождем. «Надо быть последовательной и не отступать от принятых решений», — приказала я себе и, почему-то стараясь думать о чем-нибудь очень далеком от еды, поднесла ко рту одну из этих очаровательных лапок. Уже через несколько минут ловлю себя на том, что протянула руку за другой. Нежное, с тонким вкусом и ароматом мясо нельзя сравнить ни с каким другим.

Почему-то ожидали, что на десерт обязательно подадут небольших жучков, которых вьетнамцы жарят и шелкают наподобие семечек. Нет, не подали. Наверное, потому, что не подают же у нас на торжественных обедах семечки, хотя мы все непрочь их полугзгать.

Когда меня спрашивают, как нас встречали, как принимали, как относились к нам вьетнамцы, я оказываюсь в затруднительном положении. Потому что сказать «хорошо» или «отлично» — значит, ничего не сказать. И если даже добавить еще сотни эпитетов, все равно невозможно передать необычайную теплоту и сердечность, искренность и расположение, которыми окружила нас эта земля.

Всюду нас сопровождало слово «ленсо» — советский. И оно было волшебным ключом, который открывал не двери, а сердца вьетнамцев.

Дни, проведенные в Хоабине, пожалуй, самые яркие во всем путешествии. И не только потому, что экзотика там была буквально на каждом шагу (настоящие, непроходимые джунгли рядом: дома, высоко поднятые над землей на сваях, апельсиновые плантации, самобытность живущей здесь народности мыонг). Здесь, в этом глухом маленьком местечке, наши контакты с людьми были особенно тесными, и поэтому с особой силой ощутили мы окружающие нас сердечность и теплоту.

Девушки, работающие в гостинице и ресто-

ране, захотели показать нам свои национальные танцы и песни. Тот вечер стал поистине вечером дружбы. Разве забудем мы когда-нибудь, как хозяева отдали нам места в небольшом зале ресторана, сами же устроились у раскрытых окон, а ребяташки гроздьями висели на ближайших деревьях? Как красивые девушки в яркой национальной одежде народности мыонг вели рисунок прекрасного танца с веерами, как потом мы угощали их московским черным хлебом, копченым сибирским салом и солеными помидорами, как пели вместе «Катюшу» и «Вьетнам, Хо Ши Мин». А разве можно забыть импровизированный урок русского языка с нашими гостями! Старательно выговаривая каждый звук, повторяли они слова: «Ленин, Москва, Кузбасс».

Остался в сердце и другой вечер. В один из последних дней мы пошли погулять по вечерней вьетнамской столице. Ночь в тропиках наступает мгновенно и бывает такой осязаемо плотной, будто вокруг тебя не воздух, а светонепроницаемая ткань. Мы дошли до реки Красной. Долго сидели на высоком берегу, смотрели на бархатное, абсолютно черное южное небо, на перевернутый ковш Большой Медведицы, слушали плеск волн и тихонько пели. Должно быть, эти песни выдали нашу национальность расположившемуся у самой воды семейству вьетнамцев. И вдруг из темноты донесся тоненький детский голосок: «Ленсо!» Мы откликнулись «Вьетнам». И снова из глубины ночи: «Ленсо!». И снова наш ответ: «Вьетнам». Эта переключка явно нравилась и малышу, и его родителям, и нам. Неожиданно после напряженной паузы детский голос по слогам старательно произносит новое слово: «Дружба!». И потом: «Ленсо — Вьетнам — дружба!»

В каждой гостинице, где мы останавливались, нас окружали добрые духи — неслышные, невидимые. Главной их обязанностью было угадывать наши желания. Возьмешь с блюда последний апельсин, а через пару минут на столике — гора бананов. Выпьешь весь лимонад или пиво и, как по мановению волшебной палочки, пустые бутылки заменены полными.

Когда мы уезжали из гостиницы или устраивались в другой, нас встречали и провожали милые, смущенно улыбающиеся девушки. Мы

знали: это они угадывают наши желания, это они умеют неслышно и незаметно исполнять их.

В гостинице Халонга среди девушек был юркий, как ящерица, мальчишка с незатухающей на лице улыбкой. Пожалуй, ему было лет 15—

ко два движения — и невообразимых размеров шелковое покрывало, с которым мы справлялись только в четыре руки, в мгновение аккурратно свернуто. Заметив на наших лицах изумление, парнишка звонко, совсем по-детски хо-



ХАНОЙСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

16 и, наверное, возраст давал ему право на некоторые отступления от законов. Должно быть, его тянуло к нам как магнитом, и он был не в состоянии совладать со своим мальчишеским любопытством. В нарушение инструкций он неизменно приходил в комнату только тогда, когда мы были там. Мы хвалили его за быстроту и ловкость, а он, не понимая слов, угадывал только добрую интонацию, и тоже говорил нам что-то доброе.

Мы увидели, как он разбирал на ночь постель. Настоящий цирковой номер! Два, толь-

коет и охотно повторяет фокус несколько раз. Немедленно началось наше обучение. Среди нас оказалась лишь одна способная ученица, которая, может быть, не столь блистательно, но довольно сносно повторяет номер. Наградой ей была его похвала. Старательно он произносит два русских слова: «Очень хорошо!»

В день отъезда из Халонга мы находим нашего знакомого, чтобы вручить ему сувениры. Среди них — небольшая металлическая пластинка с чеканкой. «Москва», — говорим мы, показывая на башни Кремля. Хотим как-то

объяснить ему, что это столица нашего государства, как у них Ханой, но он прерывает нас. Медленно и торжественно произносит: «Москва, Москва! Люблю тебя, как сын».

Халонг подарил нам неповторимо чудесные дни. Сказочная красота залива с его россыпью скал, ласковое солнце, теплое море, золотой песок пляжа, всюду — улыбки хозяев. Но, пожалуй, самый большой подарок — эти строки великого русского поэта, произнесенные за тысячи километров от России юным вьетнамцем.

Я была в составе первой группы кузбасовцев, побывавшей во Вьетнаме после долголетней кровопролитной войны. Еще многие мои земляки побывают там. Я завидую

им — они увидят эту страну окончательно залечившей военные раны, увидят целые кварталы новых благоустроенных домов и не увидят убогих хижин. Их будут сопровождать румяные здоровые дети. Вьетнамские женщины будут одеты в яркие нарядные одежды. На смелую буйволам на поля придут мощные тракторы. Да, я завидую тем, кто увидит эту страну богатой и счастливой.

Однако и они пусть позавидуют мне. Я видела Вьетнам в трудное для него время, когда он поднимался из руин, когда его дети учились не бояться неба и улыбаться солнцу. А как известно, именно в такие переломные моменты истории особенно рельефно проявляется национальный характер, раскрываются душа и сердце народа.

Молодежная секция

При Кемеровской писательской организации в ноябре 1976 г. создана молодежная секция. Основной ее задачей является объединение молодого творческого актива с целью работы над рукописями: обсуждение их, подготовка к печати, а также пропаганда творчества молодых литераторов области в городах и селах Кузбасса. Предусматриваются встречи молодых поэтов и прозаиков (членов молодежной секции) с читателями, творческие командировки для сбора материалов будущих произведений.

В отличие от литературных объединений, где могут присутствовать все желающие, условия членства молодежной секции более строгие: необходимо наличие книги или рукописи, одобренной собранием молодежной секции.

Со времени создания молодежной секции на ее собраниях были обсуждены рукописи четырех авторов. Так, рукопись стихов кемеровчанина Виталия Крекова после обсуждения была передана в Кемеровское книжное издательство для работы.

Новокузнецканину Александру Раевскому и березовским поэтам Леониду Березину и Владимиру Иванову также предложено готовить рукописи будущих книжек.

Молодежная секция в своей работе поддерживает тесную связь с обкомом комсомола. И молодые поэты Кемерова, Новокузнецка и Березовского уже провели интересный вечер в клубе «Гренада» с молодежью Заводского района г. Кемерова.

Начало работы молодежной секции — отклик кемеровских писателей на постановление ЦК КПСС «Об усилении работы с творческой молодежью».

С. ДОНБАЙ,
ответственный секретарь
молодежной секции

С. Смирнова

ЧУВСТВО ХОЗЯИНА ЗЕМЛИ

Тема деревни в творчестве кузбасских писателей

Понять и объяснить новую советскую деревню и новый облик современного хозяина пашни — долг и обязанность советской литературы. За последнее десятилетие нигде не произошло столько кардинальных перемен, как в деревне, нигде, пожалуй, одновременно не возникло столько острее проблем, требующих немедленного разрешения. Писатели проявили и проявляют величайшую заинтересованность во всем том, что происходит в деревне, и большая литература писателей-«деревенщиков» — итог этой заинтересованности, результат стремления помочь народу в большом и трудном деле перестройки сельского хозяйства на индивидуальной основе.

Не обойдена вниманием тема современной деревни и в творчестве кузбасских очеркистов, прозаиков и поэтов.

А поскольку очеркисты обнаруживают наибольшую активность в освоении деревенской проблематики, то разговор мы начнем с этого жанра. Перед нами книга очерков Петра Ворошилова «Встречи с деловым человеком». Первый раздел книги называется «Председатели», поскольку автора больше всего интересует тема руководителя, в данном случае председателя колхоза.

В очерке «Свадьба с приданым» мы встречаемся с председателем колхоза одного из северных районов. О себе он говорит: «Я вот уже пятьдесят с хвостиком лет сижу тут. Только на войну отлучался».

Живут в той деревне, не бедствуют. С хлебом и деньгами. Река, тайга рядом. Где еще искать такую благодать? Самостоятельный мужик «свою выгоду видит, держится за колхоз».

Правильно вроде рассуждает председатель: «Всякий человек в этом мире прежде всего работник». И невдомек этому председателю, что молодежь уезжает из колхоза потому, что в

каждом колхознике он видит прежде всего работника. Его убеждение: «Все остальное ему потом». Поэтому он искренне возмущается, считает баловством, когда «комиссии разные» предлагают ему построить клуб, спортплощадку, столовую.

Позднее автор знакомит нас с другим председателем (уже сибирского колхоза) — Дегтяренко. Это тот, у кого в селе прогремела «свадьба с общественным приданым». Мы видим совсем иной тип руководителя, для которого вовсе не «баловство» такие проблемы, как постройка в селе музыкальной школы, библиотеки, как механизация всех работ на ферме, благоустройство поселка.

В очерке сформулирована важная примета деловитости: «Решая такую сложную проблему, как закрепление молодых кадров в деревне, мало быть организатором и экономистом, надо быть еще и психологом. И далее Дегтяренко аргументированно, достоверно поясняет свою мысль о том, как заинтересовать молодежь, обратить их увлечение техникой на службу родному колхозу».

«...Возьмите повальное увлечение молодежи техникой. Это общее явление. Предложите выпускнику десятилетки полы мыть. Откажется, не спрашивая о зарплате. А дайте ему в руки полотер, пылесос, кондиционер и назовите его оператором по чистоте, — согласится и будет гордиться своей профессией. У нас в коровниках автопоение есть и уборка навоза механизирована. Старые доярки всему этому не радуются. А молодежь на ферму калачом не заманишь, в полевые бригады тянется. Боится руки испачкать? Нет, конечно. На полевых работах у нас полная механизация всех технологических процессов выращивания и уборки урожая. В этом гвоздь».

И еще колхоз имени Димитрова имеет свой перспективный план социального развития. А

в плане том предусмотрены мелкие поселки ликвидировать и основное жилье сосредоточить на центральной усадьбе. Позже на этой усадьбе появится здание бытового комбината с полным набором услуг, торговый центр, спортивный комплекс.

«Перспектива — это тоже работа по закреплению кадров. Молодежь любит в свое будущее заглянуть».

Дегтяренко — человек «по натуре нестандартный», как выражается о нем один из персонажей очерка Геннадия Емельянова «Глубокая борозда». Он всегда действует, сообразуясь с реальными обстоятельствами: «близко к сердцу каждую мелочь принимает». Колхозников привлекала эта «нестандартность», это умение проникать в души людей, и они дружно подерживают своего вожака.

Хороший руководитель сельского хозяйства должен быть способным к неожиданным решениям, необходимость которых диктует жизнь и самый близкий контакт с природой. Его решения должны быть верными: законы природы не позволяют исправить завтра ошибки, допущенные сегодня. Председатель колхоза — враг шаблонам и, напротив, сторонник всякой полезной и свежей инициативы. Конечно, человек с такими данными — талантлив. И это как раз тот тип руководителя, который нужен сельскому хозяйству сегодня. Вот с таким талантливым руководителем познакомили нас в своих очерках Петр Ворошилов и Геннадий Емельянов.

Мы любим повторять старую народную поговорку: «Цыпят по осени считают». А справедливее бы говорить: «Хлеб по осени считают». Хлеб — тогда хлеб, когда, выращенный, обмолоченный, просушенный, проветренный, упрятан в сусеки. И мы хорошо понимаем поэта Виктора Баянова, который говорит в стихотворении «Поле»:

Мне хочется теперь сильнее всего,
Дождавшись срока, не жалея поста,
Убрать до колоска до одного —
Почетнейшая испокон работа,
Чтоб неотрывно, по ночам и днем,
Бессонный штаб следил за обмолотом,
Чтобы машины с тяжким тем зерном
Поплыли по полям, по всем широтам.

И далее — напоминание, как призыв:

...Хлеб колосится, думайте о нем,
Не отдаваясь мелочным заботам.

В самом деле: в семье, в государстве, в целом ли мире, коль есть на столе хлеб, другое как-то легче прикладывается.

Хлеб сам не родится. Его выращивают золотые руки сеятеля. Вот о таком Сеятеле с боль-

шой буквы мы читаем в новой документальной повести **Олега Павловского «Баклыковы»** (альманах «Огни Кузбасса», № 4 1976 г.).

Председатель колхоза Герой Социалистического Труда Василий Данилович Баклыков прошел долгий и трудный путь от сельского учителя до руководителя одного из крупнейших колхозов области.

«Сейчас, по прошествии времени, все кажется простым и обыденным. И весь многолетний труд, споры и поиски, неудачи и радости легко укладываются в несколько газетных строчек, говорящих о том, что «За двадцать лет в Шуринке сложилась стройная система земледелия, дающая возможность не только выращивать большие урожаи, но и повышать плодородие почвы: безотвальная пахота не чаще одного раза в три года, своевременное вскрытие влаги, ежегодная предпосевная поверхностная обработка земли в несколько следов лущильниками и кольчатыми катками, органические удобрения, первоклассные семена, оптимальные сроки сева, четкая организация труда, систематическое опытничество».

И далее писатель говорит, что «непосвященному эти строчки ни о чем значительном не скажут. Разве что слова о больших урожаях тронут сердце горожанина. А ведь за ними стоит то, что иначе как Подвигом не назовешь».

Ведь они могли работать как все. Никто не заставлял их искать, недосыпать, забывать про еду. Точно, наверное, человек «предрасположенный» к подвигу, просто иначе не может жить. Борьба, творчество, ощущение радости своего труда или даже горечь поражения — это для него самая обычная жизнь, самая обыкновенная работа».

Вместе с читателем мы прослеживаем жизненный путь Баклыкова, каждый день которого связан с заботами о хлебе, о земле, с постоянными поисками нового, нужного и полезного для колхоза и всей страны. Талант этого человека писателю видится в «беспредельной», неохватной любви к земле, безжалостно «отнимающей у него все время и мысли».

«Вся сложность сельскохозяйственного производства заключается в том, что, в противоположность промышленности, здесь фактически нельзя ничего точно спланировать. Планы, разумеется, составляются — и годовые, и на пятилетку. И колхозники делают все, чтобы их выполнить и перевыполнить, но... стоит задуть суховею, не вовремя пройти дождю, просыпать граду — все расчеты летят в пух и прах».

— Двадцать восемь лет я здесь председателем, — с затаенной болью говорит Баклыков, — и не припомню, чтоб хоть один год из них был в точности похож на другой. С каждой весной приходится начинать жить как бы заново».

И, начиная с весны, вплоть до окончательной уборки урожая, ему приходится решать сложные задачи, которые преподносит природа и от решения которых многие зависят. Ведь колхоз этот по давней традиции привык сдавать хлеб государству в основном высшего качества, да и семена на будущий год нужны пересортные. И поэтому зерно здесь стараются выдержать до полной спелости, равномерного созревания и низкого процента влажности. А о каком созревании, о каком проценте можно говорить, когда в воздухе хмарь и мокреть.

«На овсяном поле Баклыков вырывает пучок стеблей, растирает в ладонях колосья.— Вот смотри, что получается... Зерно почти спелое, а стебель зеленый. Впервые в жизни встречаюсь с таким явлением. И подгона никогда такого не видывал. Как, по-твоему, быть? Скосить сейчас? При такой погоде и солома в валках погниет, и зерно прорастет. Ждать? До каких пор? Какие таинства происходят сейчас в растении?»

Но мы-то уже знаем, что и эту задачу решит Василий Данилович, как и тысячи других, которые ставила перед ним жизнь. На то он и земледelec, для которого понятие «земля» от крохотного клочка его надела расширилась до эпических размеров родной земли, всей этой Земли, где он, человек труда, стал полным хозяином. И на вечные времена!

Для колхозника сенокосная пора не менее ответственна, чем уборка хлеба. Недаром в народной пословице говорится: «Что в августе соберешь, с тем и зиму проживешь». Истинный крестьянин знает цену этому и не потому ли так жаждет смертельно больного человека в рассказе Владимира Куропатова «Пожили-поработали» сенокосной страды с ее вольным воздухом и праздником мышц как последнего и прекрасного дара крестьянской жизни.

«Небо смотрело на землю хмуро и скучно. Росы не было. Значит, быть дождю. До покоса километра два с половиной, дорога нетрудная, все по ровному. Я старался идти помедленнее, чтобы отец поспевал за мной. Шел он, опираясь на палочку, хоть и шатко, но уверенно. Так потихоньку и дошли до старой березы, от которой начинался наш покос...

Я еще не докурив папиросу, а отец уже скинул пиджак и по своему обыкновению остался в исподней рубашке навывпуск. Принялся тщательно точить косу, наточив, сунул брусок в карман штанов. Наметил глазами, как ляжет первый прокос, по привычке сплюнул в ладонь:

— Ну, господа, благослови.

Взмахнул косой. Стебли трав, подрезанные у самого основания, вздрогнули, как от резкой боли, упали на лезвие косы и тут же, собранные в пучок, были отброшены влево.

...Отец шел осанисто и легко. Так легко, что, казалось, совсем не напрягал сил, только поддерживал под нужным углом черенок косы, а она уж сама отлетала назад, ныряла в траву, сбивала стебли, укладывала их в валок, и пока отец делал маленький гусиный шаг, опять отлетала назад. Между косарем и косой установилась такая согласованность, будто были они звеньями одного хорошо отлаженного механизма.

Хлеб и машины, колхозная деревня и новейшая техника воспринимаются как понятия нерасчленимые, но писателям ясно, что это новая, очевидная для всех картина современной деревни есть результат глубинных процессов, внутреннего ее преобразования.

Об этом и стихотворение Виктора Баянова «Имба моя, приветь меня», в каждой строке которого присутствует сам автор с его деревенским детством. Сквозь строки пробивается его гордость тем, что он родился в деревне, что детство его прошло в этой избе, и как дорога она ему:

И над землей, и над водой
Сквозь все удачи и оплошки,
Мне самой близкою звездой
Сиял огонь в твоём окошке.
В большой судьбе твоей теперь
Все так предпразднично, субботно...

Вроде бы речь идет о сугубо личном, но как остро чувствуется вчерашний и сегодняшний день деревни за этими простыми с виду строчками. Как точно и справедливо сказано поэтом: «В большой судьбе твоей теперь все так предпразднично, субботно».

Да, это наша сегодняшняя деревня с ее намечающимися и уже осуществленными большими переменами.

Все это близко и дорого поэту и дает уверенность в том, что он

...неотделим
От этой теплой, этой росной,
От русской утренней земли,
Где молодое сено косят,
Где ветка каждая цветет,
Земля моя меня не бросит
И никогда не подведет.

Марк Твен

ВСЕМ НАЧИНАЮЩИМ АВТОРАМ

Однажды, когда мне было лет шестнадцать-семнадцать, меня осенила блестящая идея, совсем новехонькая, никому и в голову не приходившая до этого, — написать парочку-другую рассказов, отнести их редактору местной газеты «Репабликен» и попросить его высказать свое, ясное, без обиняков суждение.

Так вот, насколько идея эта была стара и избита, настолько для меня она казалась свежей и привлекательной. Она словно огнем пронзила меня, поразила, как гром, своей новизной и свежестью.

Я написал эти рассказы. Я написал их с той безмятежной самонадеянностью и удивительной легкостью, которую может дать только недостаток практических знаний и полное отсутствие литературного опыта. В них не было ни единой фразы, на обдумывание, отделку и шлифовку которой было затрачено полчаса. По сути, в них, кажется, даже строчки не было, на простейшее редактирование которой я затратил хотя бы шестую часть этого времени. Насколько мне помнится, на девственно чистых листах рукописей не видно было ни одной пометки, ни единой вставки. (С того времени я давно утратил эту огромную веру в свои способности так же, как и эту изумительную безупречность исполнения).

Я отправился в редакцию с карманами, набитыми рукописями, головой, полной грез и мечтаний — впереди меня ждало великое будущее. Я знал наверняка, что редактор будет поражен моими великолепными произведениями.

Впрочем, эти частности не суть важны. Мне только хочется сказать, что именно тогда первая тень сомнения омрачила мой восторг. За ней вторая, третья. Вскоре они образовали целую процессию. А когда, наконец, я очутился перед входом в редакцию и взглянул на его высокий и не очень привлекательный фасад, то мне едва верилось, что мой воздушный замок всего десять минут назад гордо вздымал свои

башни, ибо сейчас он так сник и жалко сморщился, что, осмелев, я вступить на решетчатые ступеньки редакции, я бы тут же провалился со стыда сквозь землю.

Случилось так, что в момент наступления этого душевного перелома редактор, тот самый человек, с которым я шел посоветоваться, спустился с крыльца и, остановившись на минутку поправить манжеты и натянуть получше пальто, заметил, как я смотрю на него тоскующим взглядом. Он спросил, что мне нужно. Я ответил: «НИЧЕГО!» — с присущей детям робостью и смущением и, опустив очи долу, смиренно повернул назад и медленно, пока шел по аллейке, ведущей в редакцию, пошел прочь, затем облегченно вздохнул, подхватил ноги в руки и — бежать!

Я был удовлетворен. Я ничего больше не хотел.

Такова была моя первая попытка получить «точный и ясный ответ» от сведущего в литературе человека касательно моих сочинений, и этого мне до сих пор не хватало.

И вот теперь всякий раз, когда я получаю по почте пачку рукописей с просьбой высказать свое беспристрастное суждение об их достоинстве, мне так и хочется сказать их авторам: «Если бы вы только понесли свое произведение в какую-нибудь суровую, величественную редакцию газеты, где вас никто не знает, то вряд ли вы были бы столь высокого мнения о своем творении, как это сейчас так и бросается в глаза».

Каждый человек, как только он становится редактором газеты или журнала, сразу начинает получать письма от желающих стать писателями с просьбой дать справедливую оценку их сочинениям. Исполнив подобного рода просьбы раз десять, редактор, наконец, начинает искать спасения в большом наставлении по данному вопросу, которое он публикует на страницах своей газеты или журнала, после чего со спокойной совестью отсылает всех страж-

душих к этому поучению вместо ответа. Видимо, на литературном поприще я также достиг такого положения. С этого дня я перестаю отвечать в частном порядке на письма с такого рода просьбами и приступаю к составлению собственного печатного наставления.

Поскольку все письма этого рода имеют одинаковое содержание и разнятся только по форме, я приведу в качестве образца последнее из полученных мной:

Марку Твену, эксвайру!

3 октября

Дорогой сэр! Я молод, недавно окончил школу и решил выбрать свой жизненный путь. Я осмотрелся и... не нашел для себя ничего подходящего. Скажите, так ли легко и прибыльно литературное дело или там, как и везде, наступили тяжелые времена? Литературная работа наверняка должна быть легче многих, если не большинства других занятий, и я готов — была не была, или, как говорится, пан или пропал, — взяться за это дело. Обрисуйте все как есть, не бойтесь, я не приду в отчаяние, я просто не стану тогда рисковать, только и всего. В любом деле такое может случиться. Когда я помышлял о профессии юриста (да и еще о пяти-шести других), то нашел везде одно и то же, а именно: всюду полным-полно — в каждом деле столько народу, что добиться успеха почти невозможно, рук свободных много, а работы мало. Но так как чем-то заниматься надо, то я, наконец, решил взяться за литературу. Что-то подсказывает мне, что тут как раз мое призвание, если таковое вообще у меня есть. К письму я приложил часть своих произведений. Не можете ли вы их прочесть и сказать о них свое искреннее и непредубежденное мнение? Затем, мне неприятно вас беспокоить, но поскольку вы тоже когда-то были молоды, то я хотел попросить вас доставить мне какую-ни то газетную работенку. Вы знаете массу журналистов, а я никого совершенно. Может, вам удастся выговорить для меня лучшие условия. Я, конечно, не рассчитываю сразу на высокий оклад. Скажите откровенно, сколько могут заплатить за те статьи, что я вам прислал? У меня их масса. Если вам удастся их пристроить, дайте мне знать, я пришлю вам еще даже получше этих. Ваш своевременный ответ может...

Искренне ваш и т. д.

Дорогой мой! Все скажу вам без утайки. Будут ли мои замечания иметь какой-нибудь вес или нет, стоит ли следовать моим советам или не стоит — все эти вопросы я с удовольствием оставляю вам решить самому.

Прежде всего в вашем письме есть ряд вопросов, ответить на которые может только сама жизнь, а не чьи-то пустые разговоры, поэтому я их просто пропускаю.

1. Литература так же, как государственная служба, медицина, юриспруденция, да и любое другое занятие тормозится, страдает из-за недостатка людей, желающих работать, а не из-за недостатка работы, которую следовало бы выполнять. Когда вам говорят обратное, то говорят неправду. Если вы желаете сами в этом убедиться, то найдите хорошего редактора, первоклассного репортера, директора завода, мастера цеха, механика или любого другого настоящего специалиста в своем деле и попробуйте нанять его к себе на работу. Вы увидите, что он уже нанят и его не отпускают. Он рассудителен, трезв, трудолюбив и прилежен, способен и энергичен, и всегда в большом спросе. Он не имеет даже дня свободного для отдыха, кроме как с любезного разрешения нанимателя или муниципалитета, а то и народа. Но если вам нужны лентяи и бездельники, всякого рода недоучки и ленивцы — какие-нибудь ищущие земных удовольствий редактора, репортеры, адвокаты, врачи, механики, то таких везде много. Их найдется миллионы — только мигните.

2. Нет, я не могу, да и не рискну высказать какое-либо мнение о литературных достоинствах ваших произведений. Публика — вот единственный критик, чье суждение чего-либо стоит вообще. Не ловите меня на слове, а подумайте хорошенько, и сами поймите, что это так. Если бы, скажем к примеру, Силванус Кобо или Т. С. Артур представили вам на рассмотрение свои первые произведения, то вы, вероятно, со слезами на глазах сказали бы им: «Братцы, пожалуйста, не пишите больше!» Однако сами видите, сколь популярны они. И если это не убедило вас, и вы скажете, что роман «Мраморный фавн» скучен и что «Потерянному раю» недостает живости изложения, что ж — публика-то тем не менее их читает. Много умных и более выдающихся людей, чем мы с вами, даже спустя два столетия относились с презрением к Шекспиру, однако этот старикашка продолжает жить и по сей день. Нет, я не буду участвовать в вынесении приговора вашим произведениям. Если я стану их искренне и усердно хвалить, то я могу повернуть публику в утомительно-скучное занятие, если я их искренне и добросовестно забракую, то я, может, тем самым лишь мир нового, пусть еще незрелого и никем не признанного Шекспира или Диккенса.

3. Я отстраняюсь от подыскания вам литературной работы теперь. Когда же ваши литературные произведения докажут свою истинную ценность, то вам не понадобится выискивать

себе работу. Вам потребуется больше рук, чем у вас сейчас есть, и больше мозгов, чем вы их когда-либо займете, чтобы справиться хотя бы с половиной той работы, которая вам будет предложена. Чтобы проверить правильность вышесказанного, нужно взять и провести очень простой и самый верный опыт, заключающийся в следующем: надо писать бесплатно до тех пор, пока кто-нибудь не предложит за это плату. Если этого никто в течение трех лет не делает, то претендент в писатели должен считать этот факт бесспорным доказательством того, что ему следует заняться чем-нибудь другим. Если он достаточно умен, то он с достоинством отступит и займется своим делом.

В приведенном выше высказывании я только указал на тот путь, который вынуждены были пройти Чарлз Диккенс и большая часть других ныне преуспевающих писателей, но он, видимо, не вызовет сочувствия у моего корреспондента.

Молодой претендент в писатели — существо весьма и весьма странное. Он прекрасно понимает, что если бы он пожелал стать жестянщиком, то главный механик потребовал бы от него доказать наличие доброго нрава, потребовал бы обещать проработать в его мастерской три (а может, и четыре) года, заставил бы его подметать пол, носить воду, разжигать огонь весь первый год и научил бы его, в перерывах от этих занятий, красить ведра и печи. За всю эту усердную работу платил бы ему пропитанием и парой дешевенького белья; через год ему бы стали давать кое-какие наставления по избранной им профессии, и, может быть, добавили доллар в неделю к его заработкам; на третий — прибавили бы два и на четвертый — три; и уже потом, когда он стал бы первоклассным жестянщиком, ему стали платить пятнадцать-двадцать, а возможно, даже и тридцать долларов в неделю, причем без всякой в дальнейшем перспективы получать хотя бы семьдесят пять долларов. Пожелай он стать специалистом иным, все равно ему бы пришлось пройти такой же точно долгий срок ученичества. А если бы ему захотелось стать юристом или врачом, то тут дела его обстоя-

ли бы раз в сорок хуже, ибо ему не только ничего не платили бы, но он сам должен был бы заплатить большую сумму за учение, с привилегией самому себе одевать и кормить.

Начинающий литератор все это отлично понимает и тем не менее имеет наглость требовать, чтобы его приняли в литературную гвардию и разделили с ним почет и высокую зарплату без всякого хотя бы двенадцатимесячного ученичества, доказывающего его право на этакое нахальство. Он бы рассмеялся в лицо, если бы его попросили сделать без предварительного обучения даже такую пустяковую вещь, как десятицентовую жестяную кружку, однако совершенно неопытный и невежественный, косноязычный, тщеславно-настырный и неграмотный, с тем смутным и искаженным знанием людей и окружающего мира, которое приобретено в какой-либо глухой деревне, он спокойно берется за такое грозное оружие, как перо, и набрасывается с ним на самое что ни на есть грандиозное предприятие, каким является печать.

Все это было бы смешно, если бы не было так грустно и печально. Этот бедолага не лезет в механическую мастерскую без соответствующего обучения, а тут готов взять и начать действовать без всякой подготовки инструментом, который способен ниспровергать династии, изменять религии и ввергнуть в печаль и радость целые народы.

Если мой корреспондент начнет писать бесплатно для своих местных газет, то будет весьма странно, если он не получит на таких условиях всю работу, какую он только в состоянии выполнить. И как только его писанина станет стоить денег, люди сами поспешат предложить ему их.

И в качестве серьезного и доброго напутствия я еще раз хочу напомнить (чтоб приободрить моего корреспондента) ту истину, что настоящие, нужные литературе писатели так редки, что издатели книг и журналов ищут их с упорством и бдительностью, не зная ни минуты отдыха.



Владимир Матвеев

Современная басенка

У Волка ненависть в груди:
— Ну, Заяц, погоди!
Ну, Заяц, погоди!!
У Зайца ноги
от тоски, как вата:
— Во всем не я,
а «мульти» виновато.

Разминка перед охотой

В делах охотничьих
был критик ловок, смел.
Ему лицензию
вручили на отстрел.
Как только критик
приобрел лицензию,
сел за рецензию.

Не зря он
на удачу уповал,
он был из молодых,
да ранний —
трех лириков
ухлопал наповал
и двух прозаиков подранил.

НАШИ АВТОРЫ

Махалов Валентин Васильевич родился в 1933 году в г. Горьком. Окончил Ленинградский государственный университет. Автор шести поэтических сборников, повестей «Высокая грива» и «Переселенцы». Член Союза писателей. Живет в Кемерове.

Власов Владимир Аскольдович родился в 1924 году. Автор книг «Завтра связи не будет» и «Кара-Тайга». Работает начальником Терсинской геологоразведочной партии.

Зубарев Валерий Федорович родился в 1943 году в с. Кайла Кемеровской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор поэтических сборников «Говорил со мною ветер...» и «Магнитное поле». Собственный корреспондент газеты «Кузбасс». Живет в Прокопьевске.

Куропатов Владимир Федорович родился в 1939 году в д. Кузедеево Кемеровской области. Окончил Новокузнецкий педагогический институт. Автор книги рассказов «Пожили-поработали». Живет в Кемерове.

Философов Олег Александрович родился в 1939 году в п. Яшкино Кемеровской области. Окончил Томский политехнический институт. Инженер КИПиА завода «Карболит».

Коньков Владимир Андреевич родился в 1935 году в г. Осинники Кемеровской области. Окончил Литературный институт имени Горького. Работает редактором областного радио.

Естамонова Зоя Николаевна родилась в г. Брянске. Окончила Ленинградский государственный университет. Работает на Кемеровской студии телевидения.

Скорик Любовь Трофимовна родилась в Днепропетровске. Окончила Томский государственный университет. Работает редактором областного радио. В альманахе публикуется впервые.



40 коп.

КЕМЕРОВО 1977